В. ВЕЙДЛЕ ЗАДАЧА РОССИИ

В. ВЕЙДЛЕ

ЗАДАЧА РОССИИ





ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

В. ВЕЙДЛЕ

ЗАДАЧА РОССИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1956

RUSSIA'S HISTORICAL TASK

by

Wladimir Weidle

Printed in the U.S.A.

ЗАДАЧА РОССИИ

Посвящается
дорогой памяти
Владислава Фелициановича
Ходасевича



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Прошлое ставит задачу, которую будущему надлежит разрешить: таков наиболее осмысленный и достойный человека облик человеческой истории. Задача может оказаться неразрешимой, людям может не хватить воли или сил для ее решения, но она во всяком случае не разрешается сама собой и пренебречь ею вовсе, значит для народа отказаться от исторического бытия, а для отдельного человека — согласиться на отъединенность, равнозначущую бесплодности. Большинство историософских построений нашего времени, как уже и девятнадцатого века, грешат тем, что приписывают истории совсем несвойственный ей автоматизм и тем обрекают людей либо на невмешательство, либо на лихорадочную деятельность, ведущую ко злу и оправдываемую мнимой неизбежностью. На самом деле, развитие народа, как и развитие личности, ни из каких предпосылок с необходимостью не вытекает; предпосылки лишь кое-что облегчают и кое-что затрудняют, толкают на один путь и мешают найти другой; даже в совокупности своей они предопреде-

ления не образуют, да простому сложению нельзя их и подвергать, потому что нельзя смешивать духовного наследства минувших поколений ни с теми условиями, в которых оно создавалось, ни с теми, в которых оно передается новым поколениям.

Русскую историю не предопределило «месторазвитие», не предопределил и этнический состав русского народа. На евразийской равнине могла бы процвесть и совсем иная культура, подлинно-азиатского типа; народ, говорящий на одном из индо-европейских языков, мог бы подобно арийцам Индии и Персии попасть в культурную орбиту Азии, а не Европы. Если случилось иначе, то не в силу каких-либо других материальных предопределений, а потому что в самом начале ее истории России была задана задача, которую, худо ли, хорошо ли, в течение больше чем девяти веков она пыталась разрешить. Задача эта вытекает из крещения Руси и передачи ей — Византией и в византийской форме — наследия древности. В самом общем виде заключается она в том, чтобы стать частью христианской Европы, — не случайной и пассивной, конечно, а органической и творческой: не просто к ней примкнуть, а разделить ее судьбу, принять участие в общем ее деле. Полностью осознавать эту задачу стали у нас немногим больше ста лет тому назад, но и древняя Русь не отатарилась, от наследства не отреклась и кончилась Петром, прорубившим окно не куда-нибудь в Мекку или Лхассу. В основном, Россия выбрала

свой путь в годы между Калкою и Куликовым полем и судьба ее решилась задолго до того, как стали задумываться над ней Чаадаев и Киреевский, Герцен и Хомяков, и начали спорить о ней в московских гостиных.

Спорщики не сразу утратили общую точку опоры и общий язык: журнал Киреевского недаром назывался «Европеец». Но вскоре славянофилы повернулись спиной к Западу, а западники спиной к России и началось затемнение задачи, которое для многих продолжается и по сей день. Западничество грешило тем, что смешивало европейскую культуру с интернациональной цивилизацией западного происхождения, которой России надлежало подражать на тех же основаниях, как если бы то была не Россия, а Турция или Япония. Представители этого направления странным образом не понимали, что «самобытность», о которой твердили их противники, есть как раз необходимое условие для вхождения России в европейское единство, куда Франция, например, входит не только в силу того, что у ней есть общего с Италией или Англией, а и в силу того, чем она отличается от них. Не совсем понимали это и славянофилы: представления их о национальном бытии (а потому и о существе европейского единства) были правильней, но им казалось, что задача России уже решена ее прошлым, что следует только воскресить его и что никакого дальнейшего сближения с Западом не требуется. Тем не

менее (до Данилевского по крайней мере) они продолжали считать самобытно-русскую культуру частью европейско-христианской, и только в наше время евразийцы попытались начисто освободить Россию от ее задачи, объявив, что принятие христианства и восприятие античности ничем не связывают ее с остальной Европой. Точно также и по официальному советскому мировоззрению, проистекающему из малограмотного западничества, приправленного дешевым славянофильством, задача России оказывается отмененной, по той причине, что для мировоззрения этого никакой христианско-европейской культуры не существует, а есть полезные знания и уменья, не прикрепленные ни к какому стержню и применимые везде.

Однако, что бы ни думали за сто лет о задаче России и как бы ни заблуждались на ее счет, важней всего этого тот несомненный факт, что никогда еще она так ревностно и так успешно не выполнялась, как именно в этот век от Пушкина до революции. Никогда еще России так не удавалось сочетать развитие самобытности с участием в европейской жизни, а в этом сочетании и заключается предуказанный ей путь. Открытием этого пути она обязана крещению, а не Петру, но Петр, если и затемнил его смысл, то облегчил движение по нему, которое давно уже замедлилось и грозило совсем остановиться. Препятствия, мешавшие по нему двигаться, были огромны с самого начала; свою задачу пришлось России выполнять в условиях исклю-

чительной трудности. Ее уплывающие вдаль пространства, слабая дифференцированность ее земель и крестьянского люда, населяющего их, искони затрудняли собирание ее для любого строительного, государственного дела. Разобщенность ее с Западом в после-татарскую эпоху толкала ее на неверный путь и вела к нездоровому замыканию в традиции слишком узкой и уже неспособной к творческому обновлению. Воссоединение с Западом, при всей необходимости его, приняло форму культурного крушения, так что к самой России можно применить то, что Лесков при случае сказал об «ассамблейной боярыне», которую царь Петр «с образовательной целью напоил вполпьяна и пустил срамословить». Однако, ассамблеями дело не кончилось, задаче своей Россия не изменила; напротив, только через эту катастрофу и обрела условия, в которых она становилась разрешимой. Как ни прав был Лесков, еще более прав был Герцен, когда сказал, что на вызов, брошенный России Петром, она ответила Пушкиным, — и, конечно, всем тем, что выросло из Пушкина, что пушкинский ответ сделал, в свою очередь, возможным.

Изменять своей задаче, губить тысячелетнее свое дело Россию учат лишь теперь, на наших глазах, и каждая новая октябрьская годовщина ставит веху на пути этого отступничества. Нет сомнения, однако, что в длинной цепи причин, которые к этому привели, наиважнейшие те, что связаны с судьбами Запада, с

судьбами всей по всему земному шару расползшейся Европы. Нет сомнения и в том, что будущее России ныне, как и всегда, остается неотделимым от общеевропейского будущего. Если ущербу Запада не будет положено предела, если он окончательно станет недостойным великого своего прошлого, тогда не только смысл его собственной, но и русской истории тем самым будет зачеркнут. Если же Запад обретет новую жизнь, то жизнь эта будет и жизнью России: возвратясь в лоно Европы, вернувшись к старой своей задаче, она вернется, наконец, к самой себе.

* * *

Живя вдалеке от России и думая о ней, автор никогда не мыслил ее иначе, чем в свете ее европейского призвания. Вот почему и представляется ему, должно быть, что разновременные записи этих его дум, ныне вновь пересмотренные им, достаточно связаны между собой, чтобы образовать книгу. Первые два наброска, в ней собранные, прямо и посвящены взаимоотношению русской культуры и западно-европейской. Третий с той же точки зрения рассматривает русскую историю в ее трех основных фазах, из которых последняя только еще намечается в наше время. Четвертый сложился из размышлений о не всегда понятных Западу особенностях русского характера и русской жизни. Пятый и шестой, через русско-европейский подвиг Пушкина, через колебания Тютчева между За-

падом и Россией, возвращаются к теме первых двух. Последний связан образом Петербурга и скорбью о гибели петербургской России с главнейшим содержанием всех предшествующих. Конечно, всё, что сказано на этих страницах, остается отрывочным, произвольно вырванным из необозримого контекста, но вполне связно, без пропусков, на такие темы и вообще сказать ничего нельзя.

Книга однажды уже готовилась к печати — шестнадцать лет тому назад. От осени тридцать девятого года нас отделяют немалые события. Ими не опровергаются, однако — так по крайней мере кажется автору — мысли, высказанные в его книге. Самые убийственные мировые катастрофы, хотя бы и те, что уже свершились или те, которых еще можно ожидать, не нарушают взаимоотношений, установившихся в духовном мире, взращенных невидимым посевом человеческого творчества. Да и что бы ни случилось, — можно верить, что Россия будет и надо знать, что она была.



ГРАНИЦЫ ЕВРОПЫ

I

Европейская культура большинством европейцев в разное время объявлялась культурой по преимуществу или культурой вообще, причем это ее первенство понималось в двух, не совсем совпадающих друг с другом смыслах. Согласно одному, все остальные культуры теряют рядом с ней значение и интерес; согласно другому, всё, что есть хорошего в них, совпадает с тем, что есть хорошего в европейской культуре. В обоих толкованиях основное утверждение ложно, а для других культур к тому же и обидно, — потому ли, что умаляет их ценность, или потому, что отрицает их своеобразие. Однако, с точки зрения Европы, второе толкование особенно досадно, так как, отрицая своеобразие других культур, оно отрицает и ее собственное своеобразие и тем самым превращает европейца в абстрактного всечеловека, «гражданина кантона Ури», которым никакой чего-нибудь стоящий человек Европы никогда не был и быть не мог. Чрезмерно

расширять понятие Европы вредно; но вредно и сверх меры его суживать. От расширения оно расплывается, от суживания окостеневает. Ничто органическое нельзя растягивать, не считаясь с законами его созревания и роста, но и разрезать живое тело на части тоже невозможно, не подвергая опасности его жизнь. В обоих случаях ошибка проистекает из непонимания того основного факта, что Европа есть сложный исторический организм, подобный организму нации, а не что-то неподвижное, неменяющееся, навсегда застывшее в своих границах. Европа не безгранична, но границ ее не может указать ни территория, ни раса, ни язык, ни какой-либо другой заранее данный ее признак.

Историк, умеющий мыслить историю, скорей оправдает тех, кто Европу делит на куски, дабы заменить ее одним куском и отбросить остальные, чем тех, кто ее преждевременно топит во всечеловечестве; потому что первые всё же исходят из верного чувства реальных исторических единств, тогда как вторые пренебрегают реальностью, ради пустой абстракции. Но всё-же и с делителями ему придется вести борьбу: на практике они оказываются столь же вредны, как и их антиподы. Желание их оградить Европу от вторжения несовместимых с нею сил ему понятно, но он понимает также, что необдуманный пыл в такой борьбе ведет в свою очередь к умерщвлению живого, к насильственной и ненужной вивисекции. Все три наиболее распространенных разновидности хирургического ме-

тода ссылаются в свое оправдание на бесспорные исторические факты и заблуждаются вследствие гипостазирования частичных правд. При рассмотрении, удобнее всего их расположить в порядке возрастающей обоснованности. — Назвать их можно теориями германской, романской и романо-германской.

Германская теория или северная, как ее тоже позволительно называть, наименее оправдана, но и она основана на правильном усмотрении фактов, которых сторонники противоположных воззрений большей частью не желают признавать. Совершенно верно, что северный элемент сыграл крупную роль в создании европейской культуры, причем вовсе незачем приписывать ему расовый характер, в биологическом смысле этого понятия. Греки, как и италийцы, пришли с севера и принесли в ту южную среду, где расцвело впоследствии их творчество, несвойственные этой среде черты. И снова, после того, как создалась и завершилась древняя история, северные «варвары» принесли в средневековую культуру свои собственные потребности, энергии, вкусы, несводимые к греко-римскому наследию, даже и преображенному воздействием христианства. Нельзя вслед за некоторыми французскими учеными, зачеркивать «варварское» право, как низшее, по сравнению с римским, и выводить средневековое искусство из поздне-античной традиции, закрывая глаза на глубокую его противоположность античному искусству вообще. Как бы ни объяснять происхожде-

ния «Песни о Роланде» и других эпических произведений того же рода, нельзя не признать, что по своему ритму и строю, по всей своей художественной системе, они представляют самый резкий контраст как греческому, так и римскому пониманию эпической поэзии. Противоположение Севера и Юга, проповедуемое историками искусства школы Стриговского, грешит произвольными обобщениями и насильственным истолкованием стилистических различий, но основная интуиция, на которой оно покоится, отрицанию не подлежит. Всё дело только в том, что неизвестно по какому праву этот северный элемент европейской культуры отождествляется с ее целым, объявляется подлинной Европой, в противоположность другой, неподлинной, и вообще почитается самодовлеющим единством, тогда как всё, созданное им, за самыми незначительными исключениями, создано в сотрудничестве с тем другим южным элементом. Греческая культура немыслима без своих ионийских составных частей, а римская еще больше обязана тому, что италийцы нашли в Италии и что занесли туда заморские этруски. Средневековые зодчие создали великую новую архитектуру, но обучились строить здания из камня, всё же следуя античным образцам, точно так же, как книжные иллюстраторы каролингской эпохи лишь копируя древние рукописи усвоили мастерство, которое постепенно научились применять для воплощения своих собственных, непохожих на античные, творческих заданий. Большинство

величайших произведений новой, средневековой литературы написаны на романских языках, в которых германские элементы совершенно отступают перед латинскими. Северная стихия полнозначно проявляла себя лишь там, где вступала в сотрудничество с южной. Готический стиль родился не в Германии, а в северной Франции. Творческие силы самой Германии проявились несравненно раньше и полней в южной, романизованной ее части, нежели в северной, сохранившей мнимо-драгоценную нетронутость и чистоту. Плодотворно в духовном мире, как и в мире вообще, лишь сочетание противоположностей, а не сопряжение подобного с подобным.

Вторая форма ущербления Европы как бы в зеркале отражает первую и столь же одностороння, как она. Правды, однако, на ее стороне несколько больше, так как основой ей служит нечто еще более очевидное, чем роль северного элемента в европейской истории, а именно наличие средиземноморского греко-римского мира, фундамента Европы, или лучше той первичной плазмы, без которой и помыслить нельзя дальнейшего ее развития. Правда, сторонники этой романской теории не замечают, что в состав древнего мира уже входит северный элемент; но всё же Юг, как целое, легче взять за исходный пункт, чем Север, так как он выступает в более законченной исторической форме, и в Италии, например, северные элементы нового, т. е. средневекового происхождения, в отличие от воспри-

нятых в древности, большой роли не играли. К тому же и христианство шло с юга на север, а не наоборот, прошло через греко-римский мир, раньше, чем преступить его пределы, и это уже, само по себе, — факт огромного значения. Однако, слишком прямолинейные выводы и из этих истин столь же неукоснительно приводят к лжи. При этом крайние энтузиасты латинской Европы идут по двум путям: либо признают европейскую культуру вообще лишь в пределах Римской империи и ее наследницы, католической церкви, либо соглашаются назвать европейской только культуру романских народов, как непосредственных наследников эллинизированного и христианизированного Рима. Наиболее последовательно первую точку зрения провел англичанин Беллок, а вторую — француз Массис, причем каждый сам позаботился привести свою теорию к абсурду*. Беллоку пришлось наотмашь отсекать католическую Германию от протестантской, Голландию рассматривать, как приживалку в европейском семействе и явно преувеличивать степень романизации Британии, дабы не выбросить из Европы собственную страну. Что касается Массиса, то насчет Англии в его книге дело обстоит неясно, зато континентальная Европа кончается у него на Рейне, западнее даже, чем проходила граница Римской империи, так что города, где родились Гёте и Бетховен, ему пришлось бы от-

* Hilaire Belloc. "Europe and the Faith". London, 1920. — Henri Massis. "Défense de l'Occident". Paris, 1927.

нести уже к «Востоку» или к «Азии». Намерения обоих авторов самые благие: Беллоку хочется утвердить Европу в христианстве, Массису — защитить ее от азиатских поветрий и зараз; но укрепления они строят слишком близко к Риму и Парижу и отдают врагу слишком много европейской земли. Оба, кроме того, подпадают искушению Европу *определить* и тем самым остановить, дать ей твердую, раз навсегда очерченную форму. Беда в том, что этим способом ее спасая, может оказаться, что спасаешь только труп.

Остается последний способ делить Европу, наиболее обоснованный, наиболее распространенный и потому заслуживающий наибольшего внимания. Сторонники его соглашаются признать единство романо-германского запада, но с тем, чтобы еще решительней его отделить от византийско-славянского востока. Историософия, лежащая в основе таких воззрений, одинаково усердно поддерживается по обе стороны ею же воздвигаемой перегородки. Отсюда (хоть и не только отсюда) ее устойчивость. На Западе были всегда не прочь рассматривать византийско-славянский мир как не европейский, во всем противоположный единственно-европейскому западному миру; а на востоке Европы, точно так же, всегда было много желающих подписать этот приговор, с той разницей, что козлищ и агнцев заставляли меняться местами, сохраняя, однако, между ними спасительное средостение. Положение это аналогично тому, что создалось на самом Западе,

между его германской и романской половиной; однако, не совсем: половины эти, с равным усердием, не переставали объявлять себя целым, тогда как Восток воплощением Европы себя никогда не объявлял, предоставляя это Западу и тем самым как бы продавая ему свое европейское первородство. Различие это красноречиво: оно подчеркивает реальность разделения.

В самом деле, глубокой противоположности здесь никто не станет отрицать, и зависит она не от случайных и благоприобретенных несходств, а идет из самых основ, от самых корней Европы. Если вся европейская культура построена на христианстве и классической древности, то и христианство, и классическая древность на ее западе не те, что на ее востоке. Запад вскормлен Римом и той Грецией, что прошла сквозь Рим; Восток непосредственно питается греческим наследством и тем, что от Рима перешло в духовное хозяйство Византийской империи. Восточное христианство всем стилем своего богословия, благочестия, своего мироустроения и своего искусства так глубоко отличается от западного, что при их сопоставлении различия внутри самого западного христианства теряют свою силу и протестантизм начинает казаться лишь одним из ответвлений католичества. Этих противоположностей устранить нельзя, с ними всегда будет сталкиваться тот, кому не безразличны история и судьба Европы, и в то же время не смягчение, а как раз

углубление, продумывание их до конца, открывает более глубокое, чем они и заключающее их в себе единство. Искание противоположностей тут оттого и плодотворно, что они выделяются на общем фоне, без которого противоположности не может быть. Как сопоставление отдельных наций тем больше имеет смысла, чем они теснее связаны между собой, — вследствие чего мы противополагаем китайца японцу, англичанина французу, а не венгерца испанцу, и не араба лопарю, — так и в отношении более широких единств возможность осмысленного их противоположения убывает по мере возрастания их чуждости друг другу, в чем можно убедиться, попытавшись сравнить запад Европы не с ее востоком, а, например, с Китаем и Японией. Сравнение возможно и тут, поскольку в обоих случаях перед нами человеческие культуры, а не общества пчел или муравьев, но результаты его будут бедны и мало интересны. Противоположности нет там, где нет единства, и она отнюдь не означает полной разобщенности. Если запад и восток Европы хотят считать себя совершенно разными культурами, им нужно окончательно отделить Грецию от Рима, вопреки их подлинной судьбе, одним взять Вергилия, другим — Гомера, одним присвоить себе философов, другим — юристов, и затем точно так же разделить христианство на две отдельные религии, т. е. раздвоить Христа, а на всё это, на западе как и на востоке, не согласится ни гуманист, ни просто историк, и меньше

всего может согласиться христианин. Все они, если откажутся от привычных предрассудков, увидят, наоборот, в противоположностях — и как раз в наиболее трагических из них — самое глубокое выражение великого духовного богатства общей им всем северно-южной, западно-восточной родины.

Существует, однако, и другое понимание этой мнимой рассеченности Европы на-двое, и так как оно имеет в виду главным образом Россию, то и рассматривать его нужно в применении именно к ней. Заключается оно в том, что и христианство, и наследие древности объявляют чем-то для России несущественным, наносным и во всяком случае принявшим там совершенно новые, неизвестные Европе формы; европейская и азиатская Россия образуют вместе особый мир, чуждый Западу, резко отделенный от него, широко раскрытый только Азии. Взгляды этого рода разделялись нередко западными людьми, вроде французского архитектора Виолле-ле-Дюка, построившего в середине прошлого века целую теорию на мнимом родстве храма Василия Блаженного с индийскими храмами; в рудиментарном виде они даже составляют до сих пор основу народных представлений Запада о России, как о стране волков, метелей, кнута и азиатских кочевников, именуемых казаками. Русским несравненно более осведомленным сторонникам этих теорий можно напомнить, что если называть Евразией Россию, то, уж, конечно, с не меньшим правом можно назвать Испанию

Еврафрикой. Геологически, как известно, Пиренейский полуостров составляет часть африканского материка, да и по сей день Гибралтарский пролив гораздо меньше отделяет его от Африки, чем высокий горный хребет от Европы. Древнейшее население его, иберы — выходцы из Африки, родственные берберам. Что же касается Чингисханова воспитания, постулируемого для России, то и сами евразийцы согласятся должно быть признать культурно-воспитательную деятельность Омейядов и более бесспорной и более длительной. Остается поэтому объявить Сида, а за одно и Дон-Кихота национальными героями ливийских кочевых племен, а создавшую их страну — начисто исключить из европейского культурного круга. Любопытно, что и в самой Испании появлялись время от времени, если не еврафриканцы, то иберофилы, склонные совершенно серьезно рассматривать Пиренеи, как непреодолимую преграду между Веласкезом и Гальсом, Дон-Жуаном и Гамлетом, Кальдероном и Корнелем, и видеть в своей стране наглухо в себе замкнутый культурный мир; не додумались они только до того, чтобы распространять этот мир на всю географически однородную территорию между Пиренеями и Атласом. Никто не отрицает, конечно, что влияние Востока (а не внутреннее с ним родство) сыграло немалую роль в истории России, и особенно Испании. Семь веков арабской культуры не то, что два века Золотой Орды. В испанском характере, в испан-

ских нравах, в испанском искусстве и даже в испанской мистике больше восточных черт, чем в русской жизни и культуре, что не мешает Испании, как и России, оставаться Европой: Сервантес не мавр, и Пушкин не монгол. К тому же и в до-петровской Руси можно подметить черты не только не восточные, но более западные (и северные), чем в одновременной истории греков или южных славян. Да и в отношении географии, не русский восток, а скорей уж русский запад создал русскую культуру. Новгородские и псковские земли больше Россия, чем Казань или Уфа, Киев очень не на много восточнее Петербурга, и даже из Москвы ближе путь к Балтийскому морю, чем на Индийский или Тихий океан.

Отделять Россию от Европы можно, наконец, и еще одним способом, мало замечавшимся до сих пор, потому, должно быть, что у нас он был привилегией западников, «русских европейцев». Состоит он в неустанном подчеркивании нашей отсталости и проистекающего из нее несходства с Европой, из чего делается вывод о необходимости ее догнать, сделаться, как две капли воды похожими на нее. Действительно, с точки зрения современного Запада, многие черты русской культуры следует признать архаическими, отсталыми: архаически-патриархальным было то самое в русском быту, о чем до сих пор с восторгом вспоминают иностранцы, побывавшие в России; архаической (песенно-ладовой) была русская музыка,

отчего ей и случилось обновить своим влиянием музыку Европы; архаическим остается до сих пор и сам русский язык, чем и объясняются его свежесть и конкретность, завидные для французов или англичан, утраченное их языками богатство внутреннего строения, приближающее его к греческому и латинскому языкам, на которых воспиталась европейская культура. Сокрушаться по поводу такого рода отсталости могут лишь те, кто верит в прямолинейный прогресс, по принципу чем дальше, тем лучше; в это как раз большинство наших западников и верило. Им очень хотелось сделать Россию Европой, но они упорно забывали, что Россия уже Европа; для них она была лишь неопределенным чем-то, подлежащим европеизации. Европейскую культуру они представляли себе, как неорганическую совокупность всяческих разумностей, полезностей, гуманностей, т. е. как «просвещение», как цивилизацию вообще, а, следовательно, им пристало бы с тем же успехом проповедывать ее индусам, китайцам, — или готтентотам. Одна из причин русской трагедии заключается в том, что думавшие о судьбах страны, разделились на тех, кто понимал и Россию и Европу, но не хотел их сближения, и на тех, кто сближения хотел, но не понимал, с чем собственно и ради чего следует сближаться. У славянофилов был дар исторического созерцания и национального чувства, у западников — воля, которую вдохнул в них Петр. Враги Петра были правы, обвиняя

его в насилии над Россией, которую он посылал, как выдвиженца на рабфак, в представлявшуюся его трезвому, слишком трезвому уму, бездушную, уже почти «американскую» (т. е. исключительно технически-промышленную) Европу; но его воля была всё-таки праведной волей, и он прорвался с Россией не куда-нибудь, наугад, а именно туда, куда ее влекло уже долгое ее прошлое. То, что он совершил, было величайшим событием в истории европейского единства, великим возвратом ее востока к ее западу. На основание Константинополя, через четырнадцать веков, он ответил основанием Петербурга.

II

Вопрос о России и Западе, вопрос о месте России, в Европе или вне Европы, — не только русский вопрос, хотя нигде он с такой болезненной остротой не ставился, не обсуждался так судорожно, как в России. Очень верно ощущали его у нас, как основной вопрос нашего исторического бытия. Предлагавшиеся решения его были, однако, таковы, что нелепой крайностью, односторонностью своей они только запутывали его, представляли его неразрешимым, хотя на деле его постепенно решала сама наша дореволюционная история. В отличие от нее, теоретики наши уже и ставили вопрос неверно, самой постановкой его утверждая противоположение, в незыблемости которого, как раз позволительно было усомниться. Вместо того, чтобы спросить себя, какое место принадлежит России в отношении к общеевропейскому культурному целому, ее заранее отделяли от него, ему противополагали. Выбор исходной точки предрешал и выводы, в крайней

непримиримости своей как бы отражающие друг друга. Вместо осознания России, как неотъемлемой составной части европейско-христианского мира, временно выделенной из него (от XIII-го до XVII-го века), но имеющей вернуться в его лоно, сохраняя при этом свою особенность, свое национальное лицо, у нас либо превозносили и готовились закрепить навсегда ее отдельность, либо отрицали все личные ее черты и стремились к простому уравнению ее с Западом. Кнуто-советская империя роковым образом унаследовала оба отрицания, вытекающие из этих, столь резко контрастирующих решений: отрицание Запада, от которого она Россию отторгла, и отрицание России, которой она навязала всех со всеми уравнивающее, обезличивающее варварство. Евразия, о которой вещали евразийцы, осуществилась на деле и привела к абсурду, как русский национализм, так и русский европеизм, искоренив лучшие их черты и соединив худшие в той зловещей идеологической смеси, которую можно назвать интернациональным шовинизмом или квасной универсальностью.

Это изъятие России из подлинной Европы, это ее отчуждение от ее собственного существа, есть двойное насилие, совершенное над ее духовной жизнью, над ее историей, над всеми нами, и оно слишком близко нас касается, чтобы не представляться нам чем-то, что касается нас одних. Но представление это ложно. Крушение России в духовном мире, даже (или осо-

бенно), если оно сопровождается ростом ее могущества в мире материальном, не может быть безразличным для Европы, именно потому, что Россия — часть ее самой. Лишаясь России она теряет источник обновления, более, чем когда-либо ей нужный, она лишается единственной страны, своей «отсталостью» способной ее омолодить, самой своей чуждостью напитать, потому что эта чуждость не такая уж чужая, потому что эта отсталость может ей напомнить ее собственную молодость. Но мало того. Россия за последние века была средоточием всей восточно-христианской, славяно-византийской традиции; утратить ее — это значит для Европы окончательно замкнуться в свое половинчатое, только западное бытие, отказаться навсегда от полноты своей исторической жизни, своего духовного, и в частности религиозного, бытия, своего христианства. Но и это еще не всё. Речь ведь идет не только о том, чтобы всего этого лишиться, но еще и о том, чтобы получить взамен индустриализованную Евразию, советскую безобразно расплывшуюся каррикатуру на свой собственный западный промышленный подъем и духовный ущерб, огромную лабораторию, где готовят всё, что способно погубить европейскую культуру. Ничто так не нужно Европе (включая, разумеется, в эту Европу и Америку), как понять, что воссоединение ее запада и ее востока столь же насущно для нее, как и для нас, что мы и она — одно, что судьба России неотделима от ее собственной судьбы. Но Европа этого не понимает.

Не понимает она не только в лице своих деятелей, но и созерцателей; не только этого практически не учитывает, но и теоретически себе не представляет. Виной тому, отчасти, отсутствие живого знания дореволюционной России, не восполнимое никакой фактической документацией (которая и сама к тому же нередко хромает), отчасти же самый характер господствующего ныне исторического мышления, склонного неверно понимать структуру великих над-исторических единств. Чтобы ее верно понимать, надо помнить, прежде всего, что единства такого рода суть духовные целые, что Европа, как и любая из ее составных частей, не есть лишь «месторазвитие» (пользуясь евразийским термином, обнаруживающим сущность евразийского заблуждения), а есть сложный духовный организм, созданный людьми, т. е. народом или народами, живущими на определенном участке земной поверхности, но чей рост, чьи изменения в веках вовсе не могут быть предугаданы, исходя из тех или иных черт, присущих данному участку или данному народу. Представлять себе культуру Европы, или одной из ее частей, например, России, совершенно независимой от той почвы, на которой она родилась и цвела, чьи соки ее питали, чей облик еще живет в созданных ею образах, — значит превращать ее в чисто рассудочную цивилизацию; но представлять ее себе всецело предопределенной, как бы химическим составом этой почвы, или, в более прямом смысле, географическими ее свойствами и этническими чертами народа, выросшего тут,

значит материализировать понятие культуры, видеть в ней лишь «надстройку», как говорят марксисты, не способную ни сняться со своего первоначального места, ни пережить то соотношение человеческих сил и свойств, которое существовало при ее создании. Такое понимание культуры, если его последовательно провести, зачеркивает Европу, потому что, во времени и в пространстве, может ее только раздроблять.

Когда Европа начиналась в своем крайнем юго-восточном углу, на островах греческого моря, в греческих городах на азиатском берегу, она была уже Европой, как зародыш — в потенции — взрослый человек. Но и не только так; сравнение это не вполне точно. Духовное единство Европы следует уподоблять не столько единству человеческой особи, сколько единству духовного мира, живущего в человеке: ведь частью его сознания, его духа может стать и то, что вовсе им не унаследовано и даже не усвоено в раннем возрасте. В единство Европы вошли, кроме Греции, и Рим, и самый подлинный Восток, в образе иудейских элементов христианства, и в лице самого иудейства, которого уже не вырвать из Европы, даже если все евреи пожелают переселиться на старую свою родину. В нее вошло всё то, что принесли с собой новые народы, вступившие в ее историю после падения Рима, и в нее может еще многое войти, в процессе ее распространения по земле, о чем мы и не догадываемся ныне. Она некогда цвела на скифском берегу Черного

моря, и в более близкие времена, не надолго, но совсем особый свой облик нам явила в далекой северной Исландии. Славянским народам принесла ее Византия и научила их, конечно, не совсем тому же самому, что заповедал Рим западным народам, но всё же, как и он, дала им Грецию вместе с христианством, приобщила их к прошлому, по началу бывшему им чуждым, но ставшему их прошлым и позволившему им участвовать в создании будущего, которого иначе, как европейским назвать нельзя. И в другой своей части, в другом облике своем, но та же самая Европа двигалась с юга на север, с юго-востока на северо-запад, переплыла океан, нашла новое «месторазвитие» на огромном новом континенте, куда она принесла свое прошлое, и совсем не одно только британское, иберийское или только западное, но внутри них или за ними и греко-римское, и византийское, и славянское, ибо духовное единство нераздельно, хотя, разумеется, не всегда и не повсюду оно бывает полностью осознано.

Любопытно, или вернее, очень характерно, что наиболее продуманные историософские системы, резко отделяющие западную от восточно-христианской Европы, не менее определенно отделяют от обоих греко-римский мир. Так поступают и Шпенглер, и Тойнби, так они, можно сказать, и вынуждены поступать, ибо византийско-русскую Европу связывает с Западом прежде всего общее прошлое их культуры, и чтобы отрицать их связь, надо от них отсечь их прошлое.

Шпенглер действовал тут наиболее решительно. Он конструировал замкнутую в себе античную культуру, во всем отличную от западной, «фаустовской», и отделенную от нее тысячелетним царством третьей, чрезвычайно искусственно (хоть и весьма находчиво) построенной «магической» культуры, включающей раннее христианство, Византию, Ислам, вследствие чего Россия оказывается совершенно обособленной, не связанной с фаустовской Европой ни античностью, ни даже христианством, которое распадается на три вполне разобщенных между собою формы: магическую, фаустовскую и еще не развитую русскую. Понятно, при такой конструкции, что Россия у Шпенглера, и вообще, так сказать, остается в будущем. Всё ее послепетровское развитие в его глазах не более, чем «псевдоморфоза»: подлинная ее душа лишь прорывается кое-где, у Достоевского, например, в остальном же она внешне подражает Западу, иллюзорно становится Европой. Такое понимание петербургской и пушкинской России внушено Шпенглеру, отчасти русскими же славянофилами, отчасти его общей историко-философской схемой. Оно не содержит в себе ничего верного, кроме указания на фанатическое, но верхоглядствующее западничество, которое у нас действительно существовало и подвергалось справедливой славянофильской критике. Но уж, конечно, Достоевский, как и всё то, что по Шпенглеру предвещает подлинно русскую культуру, вне Европы — и даже без Запада — непредставим; а главное, принадлежность

России к Европе и сближение ее с Западом — две вещи разные, хотя принадлежность эта не могла не помочь сближению и несомненно содействовала тому, что оно было не иллюзорным, а вполне реальным.

Несравненно более приемлемым, чем всё насильственное построение это, представляется то, которое нам предлагает Тойнби. Тут связи не разрываются совсем, а только ослабляются. Западноевропейская культура и восточнохристианская обе находятся в отношении к античной на положении дочерей и приходятся друг другу сестрами; они не продолжают непосредственно античности, а только наследуют ей (как и христианству) и развивают наследие в разных направлениях. Формулировка эта умна и осторожна, но тем не менее следует спросить Тойнби, так ли уж разны направления, о которых он говорит, действительно ли расходятся они несоизмеримо больше, чем направления, в которых развивают антично-христианское наследие такие западные нации, как, например, Испания и Англия, или все заальпийские страны Запада, взятые вместе, по сравнению с Италией. Различение наследования и продолжения грешит характерным для английского исторического мышления социологизмом. Культура, для Тойнби, неотрывна от создавшего ее общества и даже тождественна с ним (его книга различает две категории общественных союзов: примитивные общества и культуры). Он забывает, что культура, не будучи в состоянии без своего носителя, общества,

возрасти, может тем не менее это общество перерасти, и тем самым содействовать образованию более широких обществ. Он забывает, что можно с бо́льшим правом говорить о греко-римской культуре, чем о греко-римском обществе: общество в значительной мере продолжало быть римским на западе империи и греческим на ее востоке, но обе ее половины обладали единой культурой, хоть и различно оттененной и для каждой из них, и для их дальнейших составных частей. Единство культуры стремится создать единство общества, хотя вполне этого и не достигает. Единство Запада в наше время есть единство культуры больше, чем единство общества. Если представить себе фантастический случай полного отделения европейских наций друг от друга, то еще очень долго каждая из них жила бы общею им всем европейскою культурой, для каждой из них Шекспир или Гёте (по крайней мере в потенции) были бы своими, точно так же, как для нас теперь гекзаметры Гомера еще живут, как почти три тысячи лет тому назад. А если так, то где же граница между наследованием и продолжением? В том духовном мире, к которому относится культура, ее нет. Культура живет, хоть умерли и отцы, ее создавшие, и дети, наследовавшие им: она будет жить, пока есть люди на земле, способные ее воспринять и ее продолжить.

Будущее Европы не только в Европе. Оно в Америке, оно в России: в этих двух огромных мирах —

раньше, чем в мире вообще, раньше, чем во всем человечестве, взятом, как целое. Если Европа погибнет в Америке и в России, она погибнет и для всего человечества. Если она погибнет в России, то погибнет и Россия. Не степи и леса, не земля, не столько-то миллионов народонаселения составляют Россию, а та духовная страна, часть великого европейско-христианского духовного целого, где молились некогда и молятся ныне Сергий и Серафим, где жили и поныне живут Пушкин, Достоевский — и все те, с кем да упокоится дух русских людей во век.



РОССИЯ И ЗАПАД

I

Безоговорочное и непримиримое противопоставление России Западу, Запада России есть ядро идейного комплекса, любопытного прежде всего тем, что его создали и дружно развивали ни в чем другом не согласные между собой умы: исключительные приверженцы всего русского в России и фанатические поклонники Запада на Западе. Первым принадлежит то преимущество над вторыми, что их воззрения, даже самой крайностью своей, содействовали осознанию национальных особенностей России, тогда как европейский Запад сам представляет собой сложное сочетание национальных культур, по отношению к которым положительная работа такого рода давно уже была исполнена. Однако, при всей неравноценности теорий, основная ошибка и тех, и других теоретиков одна: их представлению о Европе не хватает широты и гибкости. И те, и другие стремятся возвеличить «свое» путем умаления «чужого», не понимая относи-

тельности различия между своим и чужим, и само стремление это приносит им заслуженную кару, неизбежно приводя к сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое. Ревнивые европейцы окапываются за Рейном и Дунаем, а наши собственные самобытники отступают от Невы к Москве-реке, покуда и Москва не показалась им еще недостаточно восточной.

Это понятие Востока, применяемое к России (а то и к славянской или православной Европе вообще), самой расплывчатостью и переменчивостью своей указывает на полемическое свое происхождение. Что такое «Запад», т. е. западная Европа, это более или менее ясно всякому, но что такое Восток, гораздо менее ясно; это понятие конструируют как угодно, с тем только, чтобы оно возможно резче противопоставлялось всё равно положительно или отрицательно оцениваемому Западу. В сколько-нибудь последовательной системе культурно-исторических понятий европейский Запад должен противополагаться такому же европейскому Востоку, а затем оба они, в качестве Европы, — азиатскому Востоку, ближнему или дальнему. Православие можно называть восточным христианством, но его нельзя назвать христианством азиатским. Русскую культуру можно называть восточноевропейской, но она родилась и развилась в Европе, а не в Азии. Понятие Евразии по отношению к России

географически столь же оправдано, как понятие Еврафрики по отношению к Испании, но ни о евразийской, ни о еврафриканской культуре говорить нельзя, а можно говорить лишь о национальных культурах русской и испанской, в которых черты, занесенные с востока, сыграли бо́льшую роль, чем в национальных культурах других европейских стран. Все эти простые истины забывались бы менее легко, если бы сравнительно отчетливые понятия Азии, или ближнего Востока, или магометанского мира, не заменялись постоянно всезначущим словом Восток, беспрепятственно дающим себя использовать любой идеологии. Стоит это слово произнести, чтобы всё европейское, но не относящееся к Западной Европе, немедленно превратилось в нечто отнюдь не европейское уже, а иное, враждебное, «восточное». Эта магическая операция удавалась бесчисленное количество раз в минувшем веке, да и сейчас не лишилась способности затмевать как западные, так и русские умы. Ей мы обязаны тем неверным, идущим в равной мере от Чаадаева и первых славянофилов истолкованием до-петровской Руси, которое противопоставляет ее Европе уже тем самым, что выводит ее из византийской традиции.

Византия не Азия; она, как и западный мир, вырастает из античной и христианской основ европейской культуры. Вполне законно ее Западу противополагать, но лишь в качестве *европейского* Востока. Восток и Запад единой Европы не два инородных (хотя

бы и находившихся в общении друг с другом) мира, а две половины одной и той же культуры, основанной на христианстве и античности. Их потому и плодотворно друг с другом сравнивать, друг другу противополагать, что они внутренно объединены великим духовным наследием, воспринятым по-разному, но от этого не утратившим единства. Вот почему византийское влияние на Западе или позже западное воздействие на воспитанный Византией мир не может быть сравниваемо с такими явлениями, как эллинизация северной Индии, китайское христианство или восприятие Аристотеля арабами. Если византийская империя была географически в значительной мере империей азиатской, то ведь и древнегреческая культура цвела в малоазиатских городах, и христианство родилось не в Афинах и не в Риме, и крупнейшего из отцов западной церкви, блаженного Августина, лишь историк причислит к Европе, а географ оставит в Африке. Историческое понятие Европы с географическим не совпадает: историческая Европа родилась три тысячи лет тому назад на крайнем востоке средиземноморского бассейна, а северная часть европейского материка не многим больше (а то и меньше) тысячи лет вообще живет историческою жизнью. В византийской культуре несомненно есть больше подлинно восточных или азиатских элементов, чем в культуре западного средневековья, однако, и в ней эти элементы находятся не в центре, а на периферии; их больше на окраинах, чем в столице, и в проявлениях второстепенных, чем в жиз-

ненных и существенных. Очень хорошо это видно на примере художественного творчества, где константинопольская традиция сохраняет наибольшую верность греческо-христианской его основе и где поздние восточные (особенно персидские) влияния, свободно проникающие в область орнаментально-декоративную, задерживаются на пороге большой архитектуры и церковного изобразительного искусства. Правда, в самом образовании византийского художественного стиля восточные элементы сыграли, как известно, значительную роль, но творческая работа, приведшая к созданию его, в том и заключалась, что эти элементы были поставлены в новую связь и по-новому оформлены эллинским ритмическим чувством и христианской волей к одухотворению телесного.

Византийская культура была прежде всего культурой греко-христианской, и только в этом своем качестве она могла стать воспитательницей еще лишенных высокой культуры народов восточной Европы. В составе огромного дара, полученного или унаследованного от нее, могли быть и специфически-восточные черты, однако, в большинстве, преображенные эллинством и христианством, и во всяком случае не определяющие его абсолютной ценности и исторического значения. Воспитанная Византией древняя Русь не могла быть воспитанием этим отрезана от Европы, так как воспитание состояло прежде всего в передаче ей греко-христианской традиции; она могла быть только

отрезана от Запада в силу того, что византийское христианство отличалось от западного христианства и, воспринятая сквозь Византию античность, от античности, воспринятой Западом сквозь Рим. Правда, еще до татарского нашествия Россия была открыта влияниям, шедшим непосредственно из восточных частей византийской империи, с Кавказа, и из Закавказья через Трапезунд; это привело, однако, лишь к эпизодическим заимствованиям, каких было сколько угодно и в западной Европе. Как всё больше выясняется, некоторые орнаментальные и архитектурные мотивы пропутешествовали частью морским путем, частью же, вероятно, и сухопутным, через Россию, на крайний Запад. Ничто так не предвещает романского искусства, как ранне-средневековое искусство Армении, и такого же рода странствием с востока на запад, спустя несколько веков, можно объяснить наличие сходных декоративных принципов в скульптурном украшении суздальских церквей и некоторых памятников Кавказа, южной Германии и северной Италии. Это движение форм не имеет к тому же ничего общего с византийской традицией, как целым. Традиция эта, в области искусства, как и в других областях, противопоставила Россию, вместе с остальным православным миром, Западу, но не только не сделала ее ни Востоком, ни Азией, а, напротив, определила ей на века вперед быть ничем иным, как именно Европой.

Церковно-славянский язык, воспитавший русский

и, в конце концов, слившийся с ним в новом русском литературном языке, в своем культурном словаре, словообразовании, синтаксисе, стилистических возможностях есть точный сколок с греческого языка, гораздо более близкий к нему (не генетически, но по своей внутренней форме), чем романские языки к латинскому. Проповеди Кирилла Туровского по своей музыкальности, по своему утонченному ритмико-синтаксическому складу ближе стоят к греческим образцам, чем даже латинские писания его западных современников к высоким образцам латинской прозы. Икона Рублева ближе к греческому пониманию полноты формы, мелодичности линии и насыщенности ритма, чем искусство Мазаччио или Фра Беато, его современников в Италии. Благочестие, благолепие, благоговение, благообразие, чистосердечие, милосердие, целомудрие, умиление, — всё это не только по-гречески сложенные слова, но и по-гречески воспринятые образы жизни и мысли, ставшие сперва церковно, а потом и народно-русскими, как о том напоминает старец из «Подростка», знающий единое осуждение: «Благообразия не имеют» и наставляющий близких к блаженному и благолепному житию. «Православие, — сказал Розанов, — в высшей степени отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу», если же когда-нибудь была культура гармонического духа, то это — греческая культура, и если это греческое христианство, проникающее всю древне-русскую духовную

жизнь, называть «Востоком» или Азией, то неизвестно, что же тогда будет позволено называть Европой.

Опираясь на факт византийской преемственности, можно подчеркивать особенность русской культуры по отношению к Западу, но только утверждая ее принадлежность к общей христианско-европейской культуре, наследнице классической древности. Поэтому новейшие последователи и отчасти исказители славянофильской традиции опираются уже не на этот факт, а на факты, свидетельствующие в их глазах о связях древней Руси не с Византией или неопределенным «Востоком», а непосредственно с тюрко-татарской или монгольской Азией. Факты эти распадаются на две категории: одни предшествуют отпочкованию древнерусской культуры от культуры византийской (и могут касаться поэтому лишь географических, этнических и фольклористических предпосылок русского культурного развития), другие относятся к векам, когда эта византийско-русская культура уже существует и живет историческою жизнью (так что следует рассмотреть, не образуют ли они всего лишь совокупность ее наносных, внешних и заимствованных черт). О той и о другой категории фактов можно сказать, что евразийские наблюдения, относящиеся к ним, верны, но что выводы, делаемые из этих наблюдений, неправильны. Евразия, как «месторазвитие» — плодотворная формула, многое объясняющая в русской истории, при условии не считать месторазвитие предопределением и не создавать таким образом новой разновидности

географического детерминизма. Точно так же наблюдения, касающиеся этнического состава русского народа или известных черт русского языка, народной музыки и народной орнаментики, позволяющих сближение с аналогичными чертами азиатских народов, сами по себе ценны, но должны быть истолкованы, как относящиеся к материалу, из которого строится культура, или к почве, на которой она растет, а не к самой культуре. Русский язык, как этническое явление, обнаруживает некоторые черты сходства с тюрко-татарскими языками, но русский язык, как явление национальной культуры, иными словами русский литературный язык, сложился не под татарским, а под греческим влиянием, к которому прибавилось впоследствии влияние западно-европейских языков. В высоких памятниках искусства, литературы, религиозной жизни древней Руси столь же мало азиатского, как и в культуре после-петровской России. Что же касается отдельных элементов, перенятых у татар после татарского нашествия или заимствованных Москвой у Персии, Индии или Китая, то они, конечно, сыграли свою роль, подобно тому, как арабские влияния сыграли еще гораздо бо́льшую роль в испанской культуре, но греческое христианство, Византию, а следовательно Европу, они из России не вытравили, точно так же, как мавры не сумели превратить Испанию в неевропейскую страну.

Позитивистические или натуралистические предпосылки евразийства сказываются в стремлении целиком выводить культуру из данных географии и этно-

логии, забывая о том, что духовная преемственность может оказаться сильней и тех и других, а также в понимании национальной культуры, как некоего непосредственного выделения народа, тогда как она может содержать не только не народные, по своему происхождению, но и противонародные черты. Стать на точку зрения такой теории, значит не признавать венгров европейским народом, не видеть, что эллинство Гёте или Гёльдерлина столь же подлинно, как их германство, что западность и русскость Пушкина — одно; это значит, в конечном счете, утверждать, что христианами могут быть только евреи или что в средневековой Франции цвела исключительно французская, но никак не христианско-европейская культура. Верно в этих воззрениях лишь то, что духовная преемственность протекает не в царстве духа, а в условиях исторического существования, вследствие чего христианство, античность, византийство и всё вообще, что распространяется и передается, неизбежно меняет свой облик под влиянием местных условий, окрашивается по новому в новой этнической среде. Для того, кто хочет определить степень «восточности» древней Руси и степень ее принадлежности Европе, открыт только один путь: проверить, в какие именно тона окрашивает она византийскую культуру, каким образом делает она ее русской, тем самым видоизменяя, перетолковывая ее на новый лад. Если бы историки согласились правильно поставить вопрос, а именно спросить себя, была ли древняя Русь, так сказать, западней или

восточней Византии, они давно нашли бы и правильный ответ, который избавил бы их от лишних споров и недоразумений.

Допетровская русская культура была западней византийской, и потому дело Петра было лишь законным завершением того кружного исторического пути, который начался перенесением римской столицы в Константинополь и кончился перенесением русской столицы в Петербург. Религиозная, государственная, правовая жизнь древней Руси, при всех отличиях от Запада, всё же меньше отличалась от него, чем соответственные области византийской культуры, а кое в чем была ближе к нему, чем к самой византийской своей наставнице. Св. Сергий Радонежский, в конце концов, более похож на средневекового западного святого, отчасти на Франциска, отчасти на Бернарда, чем на любого византийского подвижника. Русский раскол, несмотря на все те черты, что так глубоко отличают его от западной Реформации, всё же по своим социальным и духовным последствиям ближе к ней, чем любое религиозное движение в византийском мире. Государственный и правовой быт удельного периода во всяком случае менее похож на Византию, чем на Запад, а византийская идеология Москвы весьма сильно отличалась от московской действительности. Там, где великое воспитательное дело Византии завершилось полным усвоением ее дара и самостоятельным творчеством, т. е. прежде всего в области искус-

ства, мы видим, что русские мастера отходят от византийских образцов как раз в направлении западном, а вовсе не восточном. Дело тут притом совсем не в заимствованиях, которые случайны и редки. Новгородская орнаментика связана со скандинавской не подражанием, а внутренним родством, и стилистические принципы ее проникают также и в новгородскую икону. Деревянное зодчество русского севера опять-таки родственно скандинавскому и склонно к вертикализму, тому самому, который в XVI-ом веке находит свое выражение в шатровых храмах, окончательно порвавших с византийской традицией и направленных скорей к созданию некоей русской готики, совершенно независимой от западной, резко от нее отличной, да и ничего и не знающей о ней, и всё же более близкой к основным устремлениям ее, чем к древним религиозно-эстетическим канонам византийской архитектуры. В искусстве искони выражались всего ясней неосознанные, но глубокие потребности, чаяния, стремления духовной жизни. Допетровское русское искусство, прежде всего орнамент и архитектура, менее чем иконопись связанные церковным послушанием, — неопровержимое свидетельство не только европейскости России (в ее пользу говорит уже сама византийская преемственность), но и ее поворота к Западу, не придуманного, а отгаданного и так свирепо, судорожно, но и бесповоротно завершенного Петром.

II

Древняя Русь, уже в силу византийского воспитания своего, была Европой, т. е. обладала основными предпосылками европейского культурного развития; однако, резкая обособленность ее, особенно в московский период, могла привести под конец и к полному отъединению европейского востока от запада: Россия могла выпасть из Европы. Этого тем не менее не случилось, даже и за пять веков от татарского нашествия до Петра, потому что препятствовали этому не только сохранившиеся, хотя и слабые, связи с западным миром, но и еще больше те западные сравнительно с Византией черты, что проявились в духовном обиходе и культурном творчестве московской Руси. Опасность была окончательно устранена Петром: Константин раздвоил, Петр восстановил европейское единство. Удача, по крайней мере в плане культуры, совершенного им всемирно-исторического дела засвидетельствована всем, что было создано Россией за два века

петербургской ее истории. Судить о нации нужно, как о личности, не столько по корням ее, сколько по ее плодам; у нас слишком часто судили о России не по тому, чем она стала, а по тому, чем якобы обещала стать. Даже если бы древнерусская культура не была частью европейской, а соответствовала во всем славянофильским или евразийским представлениям о ней, новой русской культуры было бы вполне достаточно, чтобы доказать предначертанность для России не какого-нибудь иного, а именно европейского пути. Если бы Петр был японским микадо или императором ацтеков, на его земле завелись бы со временем авиационные парки и сталелитейные заводы, но Пушкина она бы не родила.

Воссоединение с Западом было делом отнюдь не легким и не безопасным. Славянофилы это поняли, и тут их было бы не в чем упрекнуть, если бы их истолкование опасности не было основано на той же ошибке, какую постоянно совершали западники и которая больше всего помешала плодотворному развитию знаменитого идеологического спора. Ошибка заключается в противоставлении друг другу Запада и России, как чужого и своего, как двух величин ничем органически одна с другой не связанных. Западники предпочитают чужое и хотят его поставить на место своего; славянофилы предпочитают свое и хотят очистить и отмежевать его от всего чужого. Для западника его любимый Запад — всего

лишь носитель некоей безличной цивилизации, которую можно и должно пересадить в полудикую Россию, точно так же, как после открытия междупланетных сообщений ее можно и должно будет пересадить и на луну. Для славянофила, более подготовленного к восприятию органических культурных единств, таким единством представляется Россия, или православие, или славянский мир, но на Европу он эту концепцию не распространяет, а в Западе видит или иное, враждебное восточному культурное единство или чаще, как западник, безличную совокупность «плодов просвещения», которую он склонен, однако, не благословлять, а проклинать. Ни тот, ни другой не видит той общей укорененности России и Запада в европейском единстве, которое только и делает тесное общение между ними плодотворным и желательным. Оба противника рассуждают недостаточно исторически, слишком отвлеченно, как будто воссоединение с Западом России, христианской и воспитанной Византией страны, а значит страны европейской, не в географическом только, но в культурном смысле, могло и в самом деле быть чем-то подобным европеизации Перу или Китая, т. е. столкновению двух чуждых друг другу культур, могущему кончиться либо полным истреблением одной из них, либо превращением обоих в такую механическую смесь, которую уже нельзя назвать культурой.

В действительности происходило, конечно, совсем

другое. Воссоединиться с Западом значило для России найти свое место в Европе и тем самым найти себя. Русской культуре предстояло не потерять свою индивидуальность, а впервые ее целостно приобрести, — как часть другой индивидуальности. Европа — многонациональное единство, неполное без России; Россия — европейская нация, неспособная вне Европы достигнуть полноты национального бытия. Европеизация неевропейских культурных миров — дело в известном смысле беспрепятственное, но и бесплодное; сближение России с Западом было делом трудным, но и плодотворным. Трудность его объясняется долгим отчуждением между ними и зависит от постоянной возможности преувеличений и односторонностей, вроде галломании конца XVIII-го века, гегельянства сороковых годов или пенкоснимательства и западнического чванства, никогда не исчезавших из русской действительности. Опасность денационализации России была реальна, и те, кто с ней боролись, были тем более правы, что лишенная национального своеобразия страна тем самым лишилась бы и своего места в европейской культуре. Опасность эта проявилась с самого начала, благодаря излишне резкому и насильственному характеру петровской реформы, но очень рано сказался и тот национальный творческий подъем, который ею же был вызван. Русская речь при Петре была надломлена и засорена, однако, из нее очень скоро выработался тот общий литературный язык, которого так не хватало до-петровской России. Русский стих

еще до Петра принял под западным влиянием несвойственную ему структуру, но усилия Тредьяковского и Ломоносова, отнюдь не возвращая его на старый путь, *впервые* поставили его на твердую почву и обеспечили его дальнейшее развитие. В судьбе русского стихосложения особенно ясно выразилась судьба русской культуры. Старый путь был узок и к созданию большой национальной (а не народной только) поэзии привести не мог; первый натиск Запада, положивший ему конец, был хаотичен и случаен, как и многое другое в петровской реформе и в заимствованиях, ей предшествовавших; но более серьезное ознакомление не с ближним Западом только, а с совокупностью западноевропейских национальных культур привело одновременно к осознанию национальной особенности русского стихосложения и к занятию им определенного места среди национальных стихосложений Европы. Русский стих оказался близок не к польскому (или французскому), а к немецкому и английскому, хотя и с ними не во всем совпал. Тот, кто в свете этого примера взглянет на русскую историю, уже не согласится ни с славянофилом, готовым в некотором роде довольствоваться народным тоническим стихом, ни с западником, уху которого стих Кантемира должен казаться более радикально-«европейским» и значит «передовым», нежели стих Пушкина.

Утверждаясь в Европе, Россия утверждалась и в себе. Современникам Екатерины это было так ясно,

что споры, связанные с этим, касались лишь частностей, а не существа дела; и почти столь же ясно это было современникам Александра I-го. Славянофильство и западничество возникли характерным образом лишь после того, как были осознаны или хотя бы почувствованы некоторые перемены, произошедшие в самой западной культуре: только исходя из них и можно понять настоящий смысл обоих доктрин, то, что внутренно разделяло их, хотя и затушевывалось нередко в узаконенных формулах их полемики. Перемены, о которых идет речь, сводятся к наметившемуся на рубеже нового века медленному превращению старой семьи органически выросших и жизненно сросшихся между собой национальных культур в интернациональную научно-техническую цивилизацию. Западники — последователи того течения европейской мысли, которое этому превращению содействовало и с восторгом принимало его плоды; славянофилы — ученики тех противников его, что и на Западе пытались с ним бороться. Западно-европейское происхождение той и другой идеологии очевидно, но и вполне законно: их борьба только часть той большой борьбы, что велась во всей Европе и противополагала просвещенчество XVIII-го века романтической защите сверхразумных ценностей. Наличие этой борьбы в России — свидетельство ее принадлежности к Европе, но вместе с тем уже не к старой Европе, а к новой, проблематической Европе XIX-го столетия. Чаадаев и ранние славянофилы в этом отношении занимают еще не совсем

отчетливые идеологические позиции (в частности Запад Чаадаева — католическая, а не «просвещенная» Европа); тем не менее именно с тридцатых годов Россия принимает участие не просто в европейской духовной жизни, а в том новом, особо потрясенном и критическом фазисе ее, в который Запад вступил на полвека раньше. Пушкин, едва ли не целиком еще по ту сторону этого перелома. Его гений сродни Рафаэлю, Ариосто, Расину, Вермеру, Моцарту и двум последним старым европейцам — Гёте и Стендалю. Он весь обращен к старой дореволюционной и доромантической Европе; ему врождены всё ее наследие, память, вся любовь; его основная миссия — сделать ее духовной родиной будущей России. Миссию эту он выполнил во всю меру отпущенного ему дара, но сращение России с Западом в единой Европе совершилось уже в новой обстановке, Пушкину чужой и с точки зрения которой он сам кажется обращенным не к будущему, а к прошлому. Россия завершилась, досоздалась в грохочущей мастерской девятнадцатого века.

Девятнадцатый век то же для России, что века Возрождения для Италии, что для Испании, Англии и Франции конец XVI-го и XVII-й век, он то же, что для Германии время, очерчиваемое приблизительно годами рождения и смерти Гёте. Но если в истории России он занимает особое место, то это совсем не значит, что русский девятнадцатый век есть что-то от европейского девятнадцатого века отдельное и ему

чуждое. В том-то и дело, что окончательное своеобразие свое в европейском сложном единстве Россия получает в этом веке, когда сама Европа, чем дальше, тем больше перестает быть тем, чем она была: отныне врастая в нее, Россия врастает и в ее распад, в ее трагическую разъятость и бездомность. Отсюда необычайно сложное строение нашего «великого века», как по сравнению с «великими веками» других народов, так и по сравнению с тем же столетием на Западе. Сращение с европейским прошлым привело к расцвету русской национальной культуры, но сращение с европейским настоящим окрасило этот расцвет в такие тревожные тона, какие не были свойственны культурному расцвету других европейских наций. Стихийных жизненных сил, тех, что сказались, например, в первозданно-земном и телесном гении Толстого, в России прошлого века было больше, чем на Западе, но рожденное ими не осталось только достоянием России, а влилось в общий Западу и ей европейский девятнадцатый век. Искусство Толстого или Достоевского — русское искусство; Достоевский — русский, как Шекспир — англичанин или как Паскаль француз, но как они, чем глубже он укоренен в своей стране, тем глубже прорастает он в Европу. Условия, сделавшие возможными появление Шекспира и Паскаля, наступили раньше в Англии и во Франции, чем сходные условия в России, где Достоевский — столько же современник Шекспира, как и Диккенса, и Паскаля, как Бодлера, а Толстой — поздно-рожденный эпический поэт, зрячий Гомер,

соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума. Трудом поколений от Петра до Пушкина вся Европа принадлежит России, вся Россия Европе; всё, что было создано в России после Пушкина, принадлежит европейскому девятнадцатому веку.

Русская литература от Лермонтова и Гоголя до наших дней вся результат переворота, произведенного европейским романтизмом, участвовала в нем, его продолжила и ни в чем от него не отреклась. Русская музыка больше получила от музыки западной, чем от музыки народной; и больше всего связана она с западной музыкой после Бетховена. Русская живопись, даже та, что в лице Иванова и Врубеля осталась верна религиозной своей основе, возвратиться к иконописи, минуя европейское искусство, всё же не могла, и лишь укоренясь в этом искусстве, подчас находила форму одновременно европейскую и независимую от Запада. Русская философия начинается с Шеллинга и Гегеля, русская наука — с западной науки. Даже русская богословская мысль столько же исходит из собственной восточно-христианской традиции, сколько из традиции западной философской и богословской мысли. Дело тут не в нашей переимчивости и не в западном засильи, а в том, что на Западе и в России девятнадцатый век — един. Пусть не ссылаются на непонятность русской культуры для немцев, французов или англичан; между собой в былые времена им было куда

труднее объясниться. Еще и сейчас елизаветинская драма доступна лишь избранным во Франции, а французская трагедия скучна для англичан; на континенте весьма редко читают Мильтона, и французы не без труда принимаются за Данте и Гёте. Зато русские писатели девятнадцатого века, если не усваиваются Европой, то лишь по лени, по незнанию языка, по нерадению переводчиков: все они плоть от ее плоти, все они соприродны ей, да и нет в европейской литературе последних пятидесяти лет более европейских имен, чем имена Толстого, ученика Руссо, и Достоевского, поклонника Корнеля и Расина, Жорж Занд, Диккенса и Бальзака. Запад уже не только дает нам свою культуру, но и принимает нашу от нас. Взаимопроницаемость Запада и России, совместимость их, условность и относительность всякого их противоположения таковы, что уже во многих случаях трудно решить, его ли собственный забытый дар возвращает Западу Россия, или нечто новое, доселе неведомое ему дарит. Вернее, решать этого нельзя и ненужно. В том то и дело, что Иванов и Мусоргский, Достоевский, Толстой или Соловьев — глубоко русские люди, но в такой же точно мере и люди Европы. Без Европы их бы не было, но не будь их, не будь России, и Европа в девятнадцатом веке была бы не тем, чем она была. Русская культура вытекает из европейской и, соединившись с Западом, себя построив, возвращается в нее. Россия — только одна из европейских стран, но уже необхо-

димая для Европы, только один, но уже неотъемлемый голос в хоре европейских голосов.

«Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять возьмем и не захотим быть перед нею неблагодарными». Это не западник сказал; это по ту сторону западничества, как и славянофильства, на вершине мудрости, на пороге смерти, пишет Достоевский в «Дневнике писателя». Последнее упование его — мессианизм, но мессианизм в существе своем европейский, вытекающий из ощущения России, как некоей лучшей Европы, призванной Европу спасти и обновить. Пусть упование это было неоправданным, но люди, хранившие такую веру, не обращались «лицом к востоку»; они обращались к Европе, веруя, что в Европе воссияет «восточный», т. е. русский, т. е. обновленно-европейский свет. Они еще не знали только, что пророчество свое, в меру его исполнимости, исполнили они сами. Русско-европейское единство никогда не было с такой силой утверждено, как в знаменитых словах Ивана Карамазова. Европейское кладбище, о котором он говорит, — колыбель новой России, залог ее культурного существования. «Дорогие покойники» потому так и дороги, что столько же, как Европе, они принадлежат и нам. И то, о чем Иван Карамазов еще не говорит, чего еще не чувствует Достоевский, нам нетрудно теперь почувствовать. Нам нетрудно понять, что он сам, как, в разной мере, все современники его, все русские люди его

века, не только унаследовали европейские могилы, но участвовали в европейском будущем, сами были творениями и творцами европейской культуры, сами говорили от имени Европы, того не зная, что делом их времени, что судьбой девятнадцатого века было Россию и Европу слить в одно.



ТРИ РОССИИ

Двух или трех десятилетий было достаточно современникам Петра, чтобы прошлое, еще непосредственно памятное им, обернулось в их же глазах чем-то от их настоящего невозвратно отделенным. Того же недолгого срока достаточно и нам, чтобы Россию, созданную Петром, ту, где мы родились и жили, увидать — такой же законченной, уходящей вдаль, навек минувшей, какой стала для современников Петра допетровская Русь. Разве возвращение столицы в Москву не есть символ начала и конца, совершенно подобный тому, каким было некогда основание Петербурга? Для нас существуют отныне две завершенных эпохи русской истории и третья, едва начавшаяся, о которой можно предсказать, что она будет во всяком случае не больше похожа на две другие, чем те были сходны между собой, и уж, конечно, меньше отвечать планам своих строителей, чем ответила замыслу Петра петербургская Россия. Было бы странно, если бы такое настоящее, как наше, не помогло нам видеть отчетливей наше прошлое. На реках вавилонских нет нужды учиться плачу, но можно учиться созерцанию.

Россия не удалась в том смысле, в каком удались, что бы ни случилось с ними дальше, Италия, Англия или Франция. Национальной культуры, такой всесторонней, последовательной, цельной и единой, как эти страны, она не создала. Ее история прерывиста и то лучшее, что она породила за девятьсот лет, хоть и не бессвязно, но связано лишь единством рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры. Ее творческие силы скудными никогда не были, но их полное цветение стало возможно лишь за сто лет до такой катастрофы, какая еще никогда не постигала ни одну из европейских национальных культур. Ей самой, к тому же, прообраз этой катастрофы пришлось и в прошлом пережить не раз: в гибели киевской земли, в падении Новгорода и особенно в петровской реформе. Уже кочевание ее столицы не может не поразить, если смотреть на него из Рима, Лондона или Парижа, а отъединенность ее последних двух веков от семи

предыдущих есть рана, которая накануне ее революционного разгрома еще только начинала заживать. Русская история не раз обрывалась и начиналась вновь, так что приходилось и русское государство заново строить и русскую душу заново воспитывать, а делать это было тем труднее, что русский народ никогда целиком в этих усилиях не участвовал и нередко о них вообще ничего не знал. За итальянским Возрождением, за образованием английского государства и Британской империи, за Францией Шартрского собора, как и за Францией наполеоновских войн, стоит весь итальянский, английский, французский народ; но в русской истории весь народ проявлял себя до сих пор почти исключительно в явлениях стихийных: в крестьянской колонизации, казачьей вольнице, в восстаниях Разина и Пугачева, в возвращении с фронта в 1917 году. Основная трудность, с которой так и не справилась ни киевская, ни московская, ни петербургская Россия, как раз и заключается в этой разобщенности народа и культуры, народа и государства, лишающей культурную традицию настоящей прочности и препятствующей лечить однажды происшедшей в ней разрыв. Эта трудность уже налицо, когда начинается Россия. Она исконна потому, что ее породила сама русская земля.

Об этом говорили тысячу раз и, кажется, не всё еще сказали: первый факт русской истории, это русская равнина и ее безудержный разлив. Широкими

волнами растекающаяся вдаль безбрежная земля есть воплощение беспредельности гораздо более полное, чем море, потому что у моря есть берег и есть другие, дальние берега, к которым уже отплывает Синдбад или Колумб, тогда как земля, и земля, и еще земля без конца ни к какой цели человека не влечет, только и говорит о собственной бескрайности. Русские просторы зовут странствовать, бродить, раствориться в них, а не искать новых стран и новых дел у неведомых народов; отсюда непереводимость самого слова простор, окрашенного чувством мало понятным иностранцу и объясняющим, почему русскому человеку может показаться тесным расчлененный и перегороженный западноевропейский мир; отсюда и русское, столь отличное от западного, понимание свободы, не как права строить свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя. По русской равнине разлился крестьянский народ, завоевал ее, особенно в лесной полосе, упорным, нескончаемым трудом, но трудом однообразным, размеренно-повторным, воспитывающим, если не пассивность — в этом земледельца упрекнуть нельзя — то привычку ко всегда одинаковому, уже не ощущаемому как волевой акт, усилию. Этот разлитой в необозримом пространстве народ никаких масс до последнего времени не образовывал нигде и потому культуру удушить не грозил, но, отказываясь и вообще сплачиваться в более тесные, изнутри расчлененные группы, он ее вечно распылял, рассасывал, растворял,

не давая ей отстояться в твердой и выношенной форме, а то, что не поддавалось растворению, нес неохотно и при первом случае готов был сбросить с плеч.

Конечно, народная жизнь и сама не бескультурна, а потому конфликт, о котором идет речь, следует формулировать точней. Русский фольклор, как известно, весьма богат, и притом, если принять во внимание огромность его площади распространения, очень однороден. Эта, как я предлагаю ее назвать, горизонтальная культура не только несравненно лучше сохранилась еще и в послепетровской России, чем в большинстве других европейских стран, она, повидимому, уже и в древней Руси была более разработана, шла глубже, захватывала жизнь полней, чем в этих странах. Такой была она, однако, именно потому, что оставалась горизонтальной, что другая, вертикальная культура из нее не выросла, а если и воздвигалась, то несколько поодаль, впитывая из нее лишь немногое и обогащая ее лишь ценою собственного упадка. Всякий фольклор с течением времени беднеет и состав его меняется. При нормальном историческом развитии лучшее, что в нем есть, уходит в высокую культуру и заменяется постепенно ее отработанными ценностями, «опускающимися», т. е. уходящими в народ. Древнее народное искусство Запада дало ростки, из которых, после их скрещивания с поздне-античной художественной традицией, выросло великое средневековое искусство; зато в настоящее время народная одежда французских

провинций хранит всего лишь память о старых городских модах, а песни, что поют в немецких деревнях, происходят по большей части из альманахов XVIII века. Напротив, русский мужик так и не нарядился в барские обноски, и городской романс до самой революции не вытеснил из деревни старую народную песнь. Правда, из допетровской культуры народ многое взял и сохранил в себе, но в результате этого усвоения как раз и рассыпалась сама эта культура, не сумевшая, в отличие от культуры западного средневековья, вобрать в себя всё народное творчество; и народ остался со своей, народной, предоставив строить другую господам, по чужеземному образцу.

Богатством русского фольклора нельзя не восхищаться, но горизонтальная культура вертикальной ни при каких условиях не может заменить. Самый лучший лубок несравним с рублевскою иконой, «Царь Максимиан» — не «Макбет» и былина об Илье Муромце — не «Божественная Комедия», и даже не «Песня о Роланде». Для литературы и искусства допетровской Руси характерно обилие произведений, приближающихся к фольклорным и достигающих, с точки зрения народного искусства, весьма высокого художественного уровня, но так же характерны редкость и отъединенность таких созданий высокого вкуса или бурного творческого огня, как «Слово о полку Игореве», проповеди Кирилла Туровского, «Троица» Рублева, Покровская церковь на реке Нерли, или храм в Коломен-

ском под Москвой. Сложившиеся за эти долгие века церковный быт и религиозно-нравственное сознание русского народа составляют едва ли не самое глубокое и прекрасное проявление народного христианства, какое вообще явила нам история; это, однако, не должно заставить нас закрыть глаза на чрезвычайную скудость древнерусской религиозной мысли сравнительно с западной или византийской, на полное отсутствие у нас чего-либо подобного возникновению великих монашеских орденов, подъему философского и мистического созерцания, всему тому расцвету высокой религиозной культуры, каким отмечена вершина западного средневековья. И точно так же, разнообразным, развитым, утонченным формам народного общественного быта противостоит в древней Руси слабость, расплывчатость или первобытная грубость государственного устройства и вообще высоких общественных форм. Повсюду возвращаешься к той же картине: русский народ растекается по безкрайным своим степям и лесам, он живет совсем не дикарской, но осмысленно-трудовой, благообразной и не лишенной творчества жизнью, однако, *этой* жизнью, *этой* степенью творчества он как будто и готов удовлетвориться, отказавшись от тех его степеней, что требуют совсем другого дерзания, напряжения, риска, а в социальной своей основе прежде всего неравенства.

Если культура остается горизонтальной, вместо того, чтобы тянуться ввысь, то это всегда и повсюду

означает невыделенность творящего высокую культуру слоя, недостаточную иерархичность в строении общества. Слабость иерархического принципа, инстинктивное отталкивание от него, были всегда характерной чертой России. Великим воспитателем западного мира — идеи службы, идеи чести, идеи *оправданного* неравенства — был феодализм, которого Россия не знала, ибо отдельные учреждения, родственные феодальным и существовавшие у нас, целостным его смыслом не обладали, а главное были всего лишь утилитарными приемами государственной власти, тогда как феодализм на Западе был всеми разделявшимся образом мысли, способом представлять себе общественные отношения, из которого выросли конкретные формы государственного устройства. В том-то и заключалось особое положение уже и древней Руси, что в ней государство и осуществлявший государственную власть правящий слой оставались чем-то внеположным по отношению к народу, не соединенному с ними теми многочисленными связями, какие рождает иерархически построенное общество. Самые выражения «правящий слой», «культурный слой» подходят более к России, нежели к другим странам, где правящую или творчески наиболее активную часть народа не снимешь с его толщи, как «слой», как сливки с молока, потому что, при большом количестве промежуточных. ступеней нельзя и разобрать, где начинаются сливки и где кончается молоко; одна Россия всегда была похожа на огромную ватрушку из отличного теста, которую

скаредная хозяйка едва прикрыла тонким слоем творога. Иностранцам народ и культурный слой всегда казались у нас чуть ли не двумя разными народами. Дело тут не в этнической чуждости, хоть и она сыграла роль, особенно в киевской и петербургской России (но не решающую, как видно по сравнению с совсем иной судьбой завоеванной норманнами Англии); дело в том безучастии, с каким смотрел на свою историю и на культурное творчество верхов народ, тяготевший не к исторической, а скорей к фольклорной жизни.

Рассказ летописи о призвании варягов, как бы ни толковали историки его прямой смысл, имеет еще и смысл символический. Варягами, хоть и самого русского корня, были московские бояре, варягов призывал из-за границы или воспитывал у себя дома Петр, варяжским делом была и российская империя и русская революция, да и нас самих, эмиграцию, можно возвести к некоему изгнанию варягов. Варяги правили Россией, как умели, встречая иногда активное сопротивление Разиных и Пугачевых, а гораздо чаще пассивное — всего русского населения. Руководились они обыкновенно правилами хищнического хозяйства, т. е. стремились добиться немедленных результатов, не слишком думая о будущем. Государству нужны были служилые люди и оно их добыло самым простым способом: раздачей крестьянских земель, а затем и прикреплением крестьян к этим землям; служилый человек получил кров и стол, а государство, передав ему забо-

ту о крестьянах, само от этой заботы избавилось. Организовать население более совершенным образом оно не умело, да население и довольствовалось теми старыми, горизонтальными формами организации, которыми издревле обладало, стремясь в остальном не столько государство освоить, сколько от государства убежать. Городская и корпоративная жизнь у нас не расцвела, кроме Новгорода и Пскова, которых на всю Россию было мало и которые погибли от неумения государственной власти понять свою задачу иначе, как уравнительно. Равнина располагает к равенству — в свободе или рабстве. Допетровское государство равенства не уничтожило, но сверху всех равно придавило своим аппаратом, — потому что правящий класс только этим аппаратом и был, не больше, — придавило, но не пронизало, ни к государственной, ни к культурно-творческой работе по настоящему не привлекло: «все» остались народом, но не стали нацией.

Национальное бытие, которое важней, чем национальное сознание, и нормально должно предшествовать ему, предполагает совместное, хоть и иерархически расчлененное, участие всего народа в создании высших духовных ценностей. Конкретный создатель этих ценностей — личность, но личность, не оторванная от совокупности культурного слоя, в свою очередь укорененного в народе. В допетровской Руси культурный слой был тонок и расщеплен, едва выплыв из народной гущи, он снова в ней тонул, и с ним вместе

тонули и растворялись в ней созданные им ценности. Характерно, что русская письменность за семь веков не выработала общего литературного языка, а русское искусство — целостного и последовательно развивающегося художественного стиля. Стилистическое единство всегда начинается с архитектуры, но в древне-русской архитектуре оно образовывалось четыре раза — в новгородских, владимирских, шатровых и так называемых нарышкинских церквах — каждый раз обрываясь после двух-трех выдающихся творений и не доведя развития до конца. Русская икона — несмотря на отличие новгородско-псковской школы от владимиро-московской — обладает гораздо большим стилистическим единством, но этим она обязана Византии, ибо она скорей продолжает византийский стиль, привнося в него некоторые национальные черты, чем создает свой собственный (как это сделала, исходя из той же византийской живописи, Италия). Последний век допетровской Руси являет поразительную картину возвращения культуры на уровень фольклора, всеобщего распыления и рассасывания в народе высоких культурных форм. В области религиозной жизни показатель тому раскол — восстание народной религиозности против более ученого, дисциплинированного и сознательного православия; в области литературы — торжество народной повести и усилившаяся анархия языка; в области искусства — путь от мастера Дионисия к ярославским росписям, от строгого иконного письма к иллюстрации и лубку, от сосредоточенной и выра-

зительной архитектуры шатровых храмов к декоративному растворению любого строительного замысла. Всё отчетливо-оформленное, носящее печать личности, всё сотворенное до конца, неудержимо растекается в завитках, переливах, узорах. Вместо форм — узорочье, меткое слово тех лет, лучше которого не найдешь для определения того, чем кончилась, куда излилась душа старой России накануне цырюльников, казарм и всепьянейшего надругательства над церковью. После того как всё расшаталось, осело, размякло, не так уж много осталось и разрушать.

II

Петровская реформа неверно оценивается славянофильской традицией, как беспримерный в истории, извне навязанный народу культурный перелом, но и западническая традиция тоже неправа, когда видит в ней всего лишь осуществление чего-то давно подготовлявшегося и вполне необходимого. Ее можно сравнить с тем, тоже очень болезненным, переломом, какой пережила Германия за два века перед тем, когда ее старая, укорененная в душах средневековая культура столкнулась с неудержимой волной Возрождения, шедшего из Италии. Пропасть, разделявшая эти два мира, была ничуть не меньше той, что отделяла Россию царя Алексея от современного ей Запада, процесс сращения их был столь же длителен и труден, и к тому же ничто в самой Германии не подготовляло ее к восприятию чуждых ей культурных форм, в то время как древняя Русь обладала чертами, уводившими ее от Византии и приближавшими к Западу. Две особен-

ности, однако, отличают реформу Петра от переворота, пережитого Германией: низкое качество того, что она хотела России навязать, и само это навязывание, т. е. революционный ее характер. Германия столкнулась лицом к лицу с Флоренцией и Римом, с Леонардо и Макиавелли, а России приказано было заменить Царьград Саардамом, икону «парсуной», а веру и церковный быт шестипалым младенцем из царской кунсткамеры. В Германии никто не заставлял Дюрера подражать итальянцам или позже Опитца писать стихи на французский лад, а в России Петр резал бороды и рукава и перекраивал мозги, в меру своего знания о том, как это делать. То, что он совершил, было первой революцией, какая вообще произошла в Европе, ибо английская революцией в собственном смысле не была, а до французской никто и не думал, что можно в несколько лет создать нечто дотоле неизвестное: канувший в прошлое мир, старый режим. Если бы дело сводилось к изменению русской жизни путем прививки ей западных культурных форм, можно было бы говорить о реформе, и притом о реформе вполне назревшей и своевременной, но путь шел к снесению старого и к постройке на образовавшемся пустыре чего-то разумного, полезного и вытянутого по линейке, а такой замысел иначе, как революционным, назвать нельзя.

Петр был первым технократом новых времен, первообразом того, что один историк (Тойнби) пред-

ложил назвать Homo Occidentalis Mechanicus Neobarbarus. Вольтер ценил в нем революционера, Дефо — державного Робинзона, плотничающего посреди русской пустыни, современный «прогрессист» мог бы ценить в нем своего предшественника, для которого культура уже сводилась целиком к технической цивилизации. Россию он переделывал во имя здравого смысла и очередных практических нужд, не спрашивая ее мнения, не считаясь с ее чувствами, разрушая в ее укладе не только то, что казалось вредным, но и то, что казалось недостаточно полезным. Ограниченность его была велика, но всё же не превышала его гения. На Западе он не видел ничего, кроме еще неясных очертаний будущей Америки, но, толкнув Россию к Западу, он всё же исполнил ее судьбу и сделал то, что как раз и требовалось сделать. Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней весь православный мир, поворотом с востока на запад восстановил единство христианского мира, нарушенное разделением Римской империи. Он парализовал на два века деятельность русской церкви, он окончательно отрезал от народного быта культурный быт, он многое в России покалечил и многое окостенил, но в самом главном он успел — как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни. Дело Петра переросло его замыслы и переделанная им Россия зажила жизнью гораздо более сложной и богатой, чем та, которую он так свирепо ей навязывал.

Двояким образом, однако, вся ее дальнейшая судьба была отмечена печатью его гения: он хотел от нее творчества, хотя бы и только технического и материального, и она ответила ему творчеством в самом широком смысле слова; он представлял себе государство по старой русской привычке, получившей поддержку в рационалистическом абсолютизме современного ему Запада, как нечто внеположное стране, почти как смирительную рубашку на сумасшедшем, который иначе стал бы буйствовать, и страна ответила ему еще обострившимся против прежнего взаимным отчуждением государства и народа. В конечном счете мы обязаны Петру, и всем тем великим, что было создано петербургскою Россией, и той катастрофой, что положила ей конец.

Царь-плотник, к несчастью для нас, был в очень малой мере царем-садовником. Рощи лиственниц он любил сажать, но Петербург на сваях вбил в болото; и всё же одно насаждение его — русское дворянство —удалось ему едва ли не лучше, чем всё то, что он для России смастерил. Новый правящий слой отличался от старого своей многочисленностью и открытостью, полным отсутствием кастовой замкнутости (по крайней мере в эпоху своего расцвета), а главное тем, что он был одновременно и культурным слоем, чего нельзя сказать ни о служилом сословии времен царя Алексея, ни о чиновничестве и знати времен Александра III и Николая II, ни, еще того менее, о полуграмотных партий-

цах, ныне управляющих Российской империей. Дворянство и создало культуру петербургской России, причем важно не то, что Ломоносов не был дворянином, а то, что в дворянской культуре нашлось место и для Ломоносова. Помещик, к тому же, был естественно ближе к крестьянину, чем позднейший городской интеллигент: в знании народа еще никакой разночинец не превзошел Пушкина, Толстого или Бунина; трагедия тут заключалась не в кровной и стихийной розни — в этой области как раз была общность, а не рознь; она заключалась в непримиренности культурных традиций, во всё той же несогласованности культуры горизонтальной с вертикальной, несогласованности, которую Петр не исправил, а только углубил, в неизменной безучастности народа и к тому, как живут верхи, и, что куда важней, к тому, что они творят. До тех пор, однако, пока всё это так грозно не обернулось тем безмолвием народа в день четырнадцатого декабря, что было страшней всех выстрелов на сенатской площади, до тех пор, да еще и много лет спустя, русская культура, созданная дворянством, жила такой полной и счастливой жизнью, какой больше никогда, ни позже, ни раньше, никакая культура в России не жила. Культура эта была национальной, хотя русский народ в целом, еще не превратился в нацию. Ее величайшим созданием был литературный язык, благодаря образованию которого новая русская литература попала сразу в совсем иное положение по сравнению с литературой древней Руси. Другие искус-

ства, напротив, не достигли той степени стилистической цельности, которой они достигали по временам в России допетровской, что объясняется отчасти общими изменениями, постигшими всё европейское художественное творчество, а отчасти особыми свойствами дворянской культуры, тяготевшей, в области пластических искусств, скорей к широкой декоративной прелести, чем к насыщенности их индивидуальной формы. Однако, и тут были у нас обрусевшие или русские строители Петербурга, был Шубин и Козловский, Левицкий и Сильвестр Щедрин, был гениальный живописец — Александр Иванов. От восемнадцатого к девятнадцатому веку всё углублялась и росла вся наша духовная жизнь: современниками Пушкина были Серафим Саровский и Сперанский; всё углублялась и росла — пока не случилась трещинка.

К середине тридцатых годов трещина обнаружилась вполне. Она сказалась в чаадаевских сомнениях о смысле русской истории, в славянофильском восстании Москвы против Петербурга, в пониженной оценке Пушкина, а значит и того, на чем был построен пушкинский мир, во всеобщем потускнении символов императорской России. Как передает Сергей Соловьев, Блок в 1915 году «развивал мысль о пушкинско-грибоедовской культуре, которая, по его мнению, была уничтожена Белинским, отцом современной интеллигенции». До него Розанов писал о приходе разночинца, разрушившего «дворянскую культуру от Держави-

на до Пушкина». Конечно, суждения эти упрощают дело, однако, они верны в том смысле, что кризис тридцатых годов совпал с рождением интеллигенции, и не только совпал, но был с ним глубоко связан, интеллигенции же предстояло в себя включить значительное число «разночинцев», которые через двадцать или тридцать лет уже стали вытеснять из нее дворян. Перемена, происшедшая таким образом в составе русского культурного слоя, имела огромное общегосударственное значение, не потому, конечно, что дворяне были хороши, а интеллигенты плохи, но потому, что дворяне были одновременно и культурным и правящим слоем, а интеллигенция стала лишь частью культурного слоя и с самого начала противупоставила себя слою правящему. Отсюда и получилось то гибельное для России расщепление культурных сил, с точки зрения которого прав оказывается умный, хоть и давно забытый наблюдатель русской жизни, Р. А. Фадеев, писавший в семидесятых годах: «Вопреки примерам, стоявшим перед нашими глазами, мы сделали опыт, никому еще не удавшийся в Европе и шедший в разрез всему содержанию нашей послепетровской истории: окунулись в полную бессословность, растворили в массе свое, еще недостаточно связное, еще не созревшее культурное сословие, требовавшее времени и самодеятельности для того, чтобы стать на ноги — и теперь вкушаем уже первые плоды начавшегося всеобщего нравственного разброда, но только первые — далеко еще не последние плоды».

Ошибка Фадеева только в том, что он пользуется юридическим понятием сословия, а не социологическим — слоя или класса. С середины века единого культурного слоя в России действительно больше не было, а была бюрократия, была интеллигенция, и были не примыкавшие ни к той, ни к другой образованные и творчески одаренные люди. Эти последние, чем дальше, тем больше, становились подлинными носителями русской культуры, но к русскому государству не имели никакого отношения, ни правительственного, как бюрократия, ни оппозиционного, как интеллигенция. Бюрократия и интеллигенция жили исключительно политическими интересами (хотя «политика» значила для них не то же самое) и потому хирели культурно; относительно аристократического и чиновничьего мира, это, кажется, ясно всем, но это столь же ясно и относительно враждебного ему лагеря: Герцен и Бакунин были высоко культурными людьми, Чернышевский и Добролюбов стояли уже на более низком уровне, Михайловский и Лавров были людьми еще более ограниченной культуры, а после них классический интеллигент начинает вымирать, уступая место либо интеллигенту, кое-чему научившемуся от не причислявшихся к интеллигенции образованных людей, либо прямому своему наследнику, полуинтеллигенту, о культурном уровне которого свидетельствует сама полученная им кличка. То, что именно полуинтеллигент был единственным прямым наследником интеллигента, явствует из унаследования им одним основной интеллигентской

черты: исключительной одержимости политикой, убеждения, что горсть политических идей важней религии, важней культуры, важней всего прочего содержания жизни и истории. Интеллигент одинаково не признавал своим человека, не разделявшего его политических идей и человека, безразличного к политическим идеям. У Врубеля, Анненского или Скрябина могли быть (как, впрочем, и у любого бюрократа) интеллигентские черты, но классический интеллигент не счел бы этих людей своими и окончательно отшатнулся бы от них, если бы мог им поставить на вид малейшую политическую ересь, — подобно тому, как достаточно было профессору не высказать одобрения студенческой забастовке, чтобы его отчислили от интеллигенции. Недаром существовали у нас две цензуры, действовавшие с одинаковым усердием и успехом, хотя одна имела в своем распоряжении государственный, а другая лишь общественный аппарат, одна — запрет, другая — организованную травлю. Травили у нас Леонтьева, Писемского, Лескова. К духовной свободе относилась враждебно как большая часть бюрократии, так и большая часть интеллигенции. Оттого-то подонки интеллигенции в союзе с подонками бюрократии и могли образовать послереволюционную правящую верхушку.

Было, впрочем, время, то, что зовут «эпохой великих реформ» — едва ли не самое трагическое в русской истории — когда весь еще не распавшийся культурный слой, включавший и подроставшую интелли-

генцию, и правившее еще дворянство, и государство, и общество, и всю ту Россию, что была нацией, но не народом, обратился к этому народу, чтобы дать ему то, в чем, казалось, он нуждался, чтобы с ним соединиться, чтобы сделать нацией и его. Но время потому и было трагическим, что попытка не удалась, и все реформы, включая и освобождение крестьян, были приняты народом, как барские затеи, которые могут быть выгодны ему или нет, но всегда остаются ему чужды. Крестьяне хотели не столько избавления от крепостного права, сколько избавления от государства, будь оно представлено помещиком, исправником или воинским начальником; если бы они могли найти подходящие слова, они сказали бы, что им не нужна история, а довольно и своего крестьянского быта, и что они просят сохранить за ними быт на вечные времена. 22 апреля 1861 г. Юрий Самарин написал письмо (позже опубликованное в «Красном Архиве»), которое принадлежит к самым замечательным документам русской истории. Он говорит там о явлении, «которое теперь обнаружилось перед всеми с сокрушительной ясностью. Это — полное, безусловное недоверие народа ко всему официальному, законному, т. е. ко всей той половине русской земли, которая не народ. Обыкновенно официальность и образованность относятся к народу, как власть, т. е. передают приказание и требуют послушания. В настоящем случае пришлось толковать, объяснять, убеждать, разуверять. Мы встретились с народным убеждением и сами убедились, что

оно не только не подвластно нам, но что вообще слово не берет его, не действует на него нисколько. Спор возможен только при одном условии, когда у спорящих есть хоть одна общая исходная точка, хоть один факт, в котором они не сомневаются. Этого-то и не оказалось на сей раз. Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священники с крестом, высочайшее повеление, — все это ложь, обман, подлог. Всему этому народ покоряется, подобно тому, как он выносит стужу, метели и засуху, но ничему не верит, ничего не признает, ничему не уступает своего убеждения. Правда, носится перед ним образ разлученного с ним царя, но не того, который живет в Петербурге, назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска, а какого-то другого, самозданного, полумифического, который завтра же может вырасти из земли в образе пьяного дьячка или бессрочно отпускного».

При встрече с народом, новая Россия разбилась о наследие древней Руси, не преобразованное Петром и его преемниками на троне или у трона; она разбилась о географию, о неизменность народной жизни, ее победил все тот же стихийный разлив русской земли. Будучи побежденной, она пошла навстречу своему распаду: с шестидесятых годов начинается история русской революции. Быстро стали образовываться два враждебных механизма, бюрократический и интеллигентский, правительственный и революционный, два

механизма, мешавшие видеть, мешавшие отличать реальные нужды страны от теоретических постулатов революции или контрреволюции, постоянно нарушавшие естественное развитие культурной жизни. Чеховский разбитый параличом мир обязан своим происхождением действию обоих механизмов, а не одного только, как обычно думают. И точно так же, в обоих лагерях, а не только в одном, крушение реформ, не достучавшихся до народного ума, вызвало особое тяготение к народу. Интеллигенты «ходили в народ», что бывало подвигом истинной любви, но с народом пытались сблизиться и официальные верхи русского общества, в чем подвига (благодаря методам сближения) было меньше, но толку точно так же не было совсем. Опрощался барин Толстой, и в этом было по крайней мере столько же от барства, сколько от мотивов, прозрачных для интеллигенции; опрощались такие толстовцы, в которых простоты было от природы более, чем достаточно; но опрощались и русские цари, и в каком-нибудь будущем историческом музее косоворотка и сапоги Толстого будут висеть недалеко от косоворотки и сапог Распутина. Россия, созданная Петром, кончилась покаянием, но не только за царевича Алексея и казненных стрельцов, а за Грозного, за Калиту, за призвание варягов. Сами варяги и каялись — за то, что Россия стала нацией, но не включила в нацию народа.

III

Самое поразительное в новейшей истории России, это, что оказался возможен тот серебряный век русской культуры, который предшествовал её революционному крушению. Правда, длился этот век недолго, всего лет двадцать, и был исключительно и всецело создан теми образованными и творческими русскими людьми, которые не принадлежали ни к интеллигенции, в точном смысле слова, ни к бюрократии, так что не только народ о нем ничего не знал, но и бюрократия с интеллигенцией частью его не замечали, частью же относились к нему с нескрываемой враждой. Правда и то, что сияние его — как и подобает серебряным векам — было в известной мере отраженным: его мысль и его вкус обращались к прошлому и дальнему; его архитектура была ретроспективной и на всем его искусстве лежал налет стилизации, любования чужим; его поэзия (и вообще литература), несмотря на внешнюю новизну, жила наследием предыдущего

столетия; он не столько творил, сколько воскрешал и открывал. Но он воскресил Петербург, воскресил древнерусскую икону, вернул чувственность слову и мелодию стиху, вновь пережил всё, чем некогда жила Россия, и заново для нее открыл всю духовную и художественную жизнь Запада. Конечно, без собственного творчества всё это обойтись не могло, и как бы мы строго ни судили то, что было создано за эти двадцать лет, нам придется их признать одной из вершин русской культуры. Эти годы видели долгожданное пробуждение творческих сил православной церкви, небывалый расцвет русского исторического сознания, дотоле неизвестное общее, почти лихорадочное оживление в области философии, науки, литературы, музыки, живописи, театра. — То, чем эти годы жили, что они дали, в духовном мире не умрет; только для России теперь, всего этого, как будто и не бывало. Это могло быть преддверием расцвета и стало предвестием конца.

Те, чьим делом были эти двадцать лет, прожили их в колебавшейся не раз и все же до конца протянувшейся иллюзии, что писаревщина кончилась, что шестидесятые годы на полвека отошли назад, что одна цензура всеми признана столь же нелепой, как и другая, что Горький балагурит, когда пытается запретить постановку Достоевского в Художественном театре, и даже, пожалуй, что Нечаев и Ткачев были всего лишь героями романа, и что это в «Бесах» кто-то предложил, ради торжества революции, уничтожить всё на-

селение России возрастом свыше двадцати пяти лет. На самом же деле оказалось, что с шестидесятыми годами еще не покончено и Бюхнер с Молешотом еще не сданы в архив: оказалось, что знаменательный перелом, происшедший на пороге нового столетия в мировоззрении Булгакова, Бердяева, Струве и стольких других бывших марксистов, бывших нигилистов, бывших интеллигентов, сыграл роль лишь в предреволюционном цветении России, а в дальнейшей ее судьбе роли не сыграл. С каким презрением относились люди серебряного века к передвижникам и знаньевцам, к горьковским буревестникам, репинским бурлакам и гражданской скорби из «Чтеца-декламатора», а ведь именно передвижники и знаньевцы вместе с «Чтецом-декламатором», в конце концов, и победили, и мы узнаем, если не их скорбь, то их стиль, в планетарном провинциализме нынешней России. Победили же они потому, что духовный багаж классического интеллигента в свое время не просто развеялся по ветру, а стал, сильно отощав, достоянием полуинтеллигента, и от него, еще до революции, просочился кое-где в народ. Начетчики из полуинтеллигентов стали идеологами революции, — той революции, которая удалась; потому что готовилось много революций, но удалась только одна: та, что хотела прежде всего до последнего камня всё разрушить, а не одновременно строить и разрушать, и не о России думала, а только о себе и об условиях своей удачи.

Откуда этот пафос разрушения? Только в очень малой доле от марксизма, и ту революцию, что в России удалась, сделал не Маркс и не Плеханов: она идет от нигилистов шестидесятых годов, пафос разрушения — от пафоса отрицания. Недаром изъятие Бога и отметание всех духовных ценностей (т. е. таких, которые не сводятся к практической выгоде для особи или общества) есть основной догмат русского коммунизма, в гораздо большей мере, чем все специфически марксистские догматы: этим он изменял не раз, тому всегда оставался верен. Для Ленина марксизм был только орудием, которым он пользовался с большим искусством для своей настоящей цели — разрушения. Ленин хотел революции не ради каких-нибудь её целей, а прежде всего ради неё самой, и сделал её он, а не другие, именно потому, что другие хотели её и еще чего-нибудь в придачу, а он её и её одну. Конечно, он бы этого не признал, а, может быть, и не сознавал, но его образ действий и его успех объяснимы только этим. Пока революция делалась, марксистские лозунги были выгоднее всех других, кроме вытекающих из состояния войны, вроде лозунга бросать фронт и уходить домой, лучшего ленинского козыря; когда же революция была сделана, пришлось волей неволей проводить их в жизнь, потому что ничего другого в запасе у победителей не оказалось. Ленин был едва ли не одареннейшим из всех революционеров когда либо делавших революцию, но одарен он был именно для этого дела,

а не для какого-нибудь другого (ведь не требуем же мы от виртуоза на балалайке еще и уменья играть в крокет). Свой изумительный талант он показал в эпоху Брестского мира, когда Троцкий сумел лишь пролепетать о чем-то несуразном, что одновременно не мир и не война, а главное всем своим руководством революцией, лишь по видимости основанном на учении о классовой борьбе, на самом же деле проистекавшим из понимания исконной, хоть и дремотной, вражды русского народа не столько к кулаку и толстосуму, сколько к барину, т. е. человеку быть может и не богатому, но носящему пиджак и воротничок, читающему книжки, живущему непонятной и ненужной народу жизнью. Лучшей гарантией успеха было для революции истребление правящего и культурного слоя, и эту гарантию Ленин от народа получил.

В каждой революции есть три момента: восстание, регламентация, компромисс. Восстание народа против мундира, чиновника, указа и всего того, что перечисляет Самарин в своем письме, было явлением стихийным и потому не лишенным трагического величия. Ленин на нем сыграл, но Ленин его не выдумал; это оно победило в Гражданской войне и оно же вызвало тот глубокий переворот в судьбе России, которого не отменят никакие дальнейшие события; поэта и художника только оно и способно было вдохновить; памятником ему останутся «Двенадцать» Блока, да быть может еще «Рассея» Бориса Григорьева. Сущность

революции, однако, сказывается не в восстании, а в регламентации (которой Блок не вынес), ибо она исходит из принципов и схем, желающих стать реальностью. Убийство Кокошкина и Шингарева относится к восстанию, деятельность Дзержинского и постройка Беломорского канала к регламентации. Аппарат слежки и расстрела был первым успешно действующим аппаратом русской революции, как гильотина — революции французской; в остальном царило долгое время хаотическое бумагопроизводство и сплошная «комиссия наблюдения за комиссией построения» — пока не пришлось считаться с реальностью, хотя бы для того, чтобы не умереть голодной смертью. Отсюда начинается эра компромисса, продолжающаяся и теперь, когда восстание давно кончилось (в 1921-22 году), а регламентация, в смысле оседлания действительности революционными схемами, заменяется регламентацией в смысле оседлания народа государственною властью. От условий, на которых заключен, от линии, по которой движется компромисс, зависит будущее.

Кнуто-советская империя утверждает, что она строит бесклассовое общество и что эксплоатация трудящихся в ее пределах отменена, тогда как всем давно известно, что там образуется новый правящий класс, а трудящиеся эксплоатируются государством в интересах этого класса и его правящей верхушки. Тем не менее, пропаганда лжет умней, чем кажется,

потому что трудящийся, эксплоатируемый государством, если он верит, что это государство действительно принадлежит ему, так же, как и всякому другому, легче мирится со своей судьбой, а верить он этому готов, если правящий класс мало чем отличается от остального народа в бытовом, и особенно в культурном отношении. Вопреки мнению экономистов, культурные различия переживаются болезненней имущественных; отсюда относительная слабость классовой борьбы в Америке; отсюда преимущество иметь правящий слой, который не являлся бы культурным слоем. По этой линии и двигался компромисс. Испугавшись неурожая, Ленин разрешил торговлю, но запретил культуру. Сталин, торговлю отменивший, ничего не имел против накопления материальных ценностей, но не допустил проявления ценностей духовных. Пока не будет свободы верить, мыслить и творить, не будет культуры (кроме материальной) и следовательно может процветать мнимо-бесклассовое, но подлинно бесцветное и бесплодное, с точки зрения духовной, общество. Такова основа советского строя, остальное — техника, и техника нередко совершенно такая же, какую применяли прежде, в досоветском государстве. Подобие внешторга существовало при Петре; особые войска, применяемые для охраны порядка, напоминают потешных или опричнину; аракчеевские военные поселения — образец колхозов; комсомольцы, стахановцы, выдвиженцы — будущее служилое сословие; боязнь выпускать подданных заграницу была известна

московской Руси и России Николая I-го. Россией всегда было трудно управлять и управляли ею всегда механически и жестоко; теперь ею управляют жестче и механичнее, чем когда-либо, но укорять в этом некого, угнетателей не видно, всё кругом по-домашнему уютно и серо, и сам отец народов, пока не напялил военного мундира, снимался в тужурке и русских сапогах.

Основное различие между западной историей и нашей в том, что у них народ хотел овладеть властью, а у нас уйти от власти. Чем меньше он ее чувствовал, тем больше она ему была по душе. Однако, при неизменности такого положения вещей, тяжба неразрешима. Власть тем круче, тем свирепо-прямолинейней, чем больше растекается под ней и ускользает от неё народ; и чем больше склонны от неё бежать и всё, что к ней относится, называть казенным, тем казенней она становится. Анархическому инстинкту русского человека противостоят исключительно жесткие, железные, негнущиеся (а потому в конечном счете и непрочные) формы государственного управления. Покончить навсегда с этим противоречием или хотя бы в достаточной мере и надолго его сгладить не удавалось до сих пор ни одному из существовавших в России государственных устройств. Очень возможно, что, для русского будущего, революционным десятилетиям суждено сыграть в этом отношении решающую роль. Не то, чтобы нынешняя власть сумела положительным образом разрешить вытекающую из сказанного труднейшую за-

дачу. Напротив, она опозорила себя навек таким насилием, таким произволом, каких Россия никогда не знала и каких еще на свете не было. Однако, тем самым — можно надеяться — она привела к абсурду не только всякий механический и навязанный сверху способ управления но и то, что ему противостояло: формобоязнь, недоверие к любому праву и к любой власти, политическую уклончивость и немоту русского народного сознания. Есть основание думать, что после падения свирепой, как никогда, но и зато и добравшейся не до шкуры его только, а до самого его костяка власти, русский народ поймет необходимость уже не бежать от государства, а организовать его изнутри, из себя, именно организовать, а не только построить, т. е. сделать его не железным, а живым.

Третья Россия будет сильней и первой, и второй. Революция принесла ей три дара: сознание единства всей огромной страны, участие всего населения в её исторической жизни, правящий слой, близкий к народу, внутренне не отделенный от него: ни одним из этих даров Россия еще никогда не обладала. Нет сомнения, что именно теперь она на пути к тому, чтобы впервые за почти тысячелетнюю свою историю стать нацией, включающей в себя весь народ. Те, кому этого довольно, те, кого удовлетворяет внешняя сила и материальное преуспеяние, должны эту третью Россию счесть своей; так они, конечно, и сделают, это вопрос времени и устранения внешних препятствий. Что же

касается других, то им следует знать, что хотя революция и принесла России эти неоценимые дары, она кое-что у неё и отняла. Искоренение творческой свободы даром пройти не могло и не прошло. Философия, свободное знание (кроме наук известного направления или в которых не может быть никакого направления) запрещены. В литературе жалкие перепевы «гуманных» мотивов девятнадцатого века и отдельные проблески живого дара или живой мысли тонут в стандартном хламе, вываренном по казенному образцу. Живопись вернулась к Верещагину, скульптура к Антокольскому; музыка и архитектура подвергаются окрикам людей, ничего не смыслящих ни в той, ни в другой. Вертикальная культура русского образованного общества уничтожена, но уничтожается и горизонтальная культура народа в её религиозной и бытовой основе. Всеобщая грамотность вполне совместима со всеобщим варварством, и чтение Пушкина с непониманием азбуки его искусства. Когда культурная преемственность так порвана, как в России, таким повальным истреблением или изгнанием её носителей, — её восстановление будет во всяком случае очень трудным. Оно станет невозможным при дальнейшем воспитании молодежи в духе партийной дисциплины и технического идолопоклонства. Одно из двух, или что-то такое случится с Россией, что её воссоединение с прошлым в последнюю минуту все-таки произойдет, или и в самом деле она перестанет быть Россией. У современной Греции не много общего с Грецией Пла-

тона; у будущей России может оказаться еще меньше общего с Россией Пушкина. Имя останется, — быть может и официально будет ей возвращено, — но по праву оно принадлежит чему-то иному, не территории, не стольким-то миллионам людей, а всему тому, что ею было создано, всему, чем она жила. Что бы её ни ждало впереди, мы знаем, что это *было.*



МЫСЛИ О «РУССКОЙ ДУШЕ»

Иностранец этих слов в кавычки не поставит и рассуждать на обозначенную ими тему будет непринужденнее, чем мы. Так и нам говорить о национальных чертах немцев, французов, англичан легче, чем о своих, а о собственной душе и упоминать неловко; однако, за неимением более удобного выражения можно воспользоваться и этим, самой же темы всё равно не избежать. Все мы в наших мыслях о себе и о своем народе, исходим из некоторого общего представления о том, что приходится называть слишком расплывчато его душой или слишком узко его характером. Почему же не попытаться представления эти проверить, хотя бы частично, и хоть что-нибудь разглядеть в обманчивой, но влекущей глубине?

Мнением иностранцев, при этом, отнюдь не следует пренебрегать. Конечно, русский человек изнутри знает кое-что о себе и о России, что другому узнать трудно; но сколько-нибудь ясно высказать то, что подсказывается этим смутным знанием, тоже ведь очень не легко. Чужие ошибки в этой области ничего

не стоит указать, но как трудно выразить в словах нашу собственную, чувствуемую, однако, правду. Тут-то и помогают суждения иностранцев, наблюдения со стороны: благодаря им становится легче разобраться в полувнятном нашем самосозерцании. Неоценимо полезны с этой точки зрения бывают не только писания в общем дружественные России, как известная работа покойного французского ученого Жюля Легра (несвободная, однако, от некоторых предубеждений), но и книги наблюдателей, настроенных враждебно, если только они талантливы и умны, как маркиз де Кюстин, или особенно как Виктор Ген, балтийский немец, автор замечательных книг о Гёте и об Италии, прослуживший полжизни в петербургской Публичной библиотеке, страстно ненавидивший всё русское, включая музыку и литературу, и всё же оставивший записи (изданные посмертно), которым трудно найти что-либо равное по зоркости и остроте*.

Случай Гена — крайний: прозрение, внушенное злобой, ясновидение вопреки несправедливости; общее у него с другими только то, что и он «со стороны». Именно так, всё равно что чужими глазами, надо и нам посмотреть на себя, чтобы себя понять, и, пожалуй, сейчас, когда мы отделены от России чем-то

---

* V. Hehn. De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der russischen Volksseele. Tagebuchblätter aus den Jahren 1857-1873. Stuttgart. 1892.

большим еще, нежели версты или годы, нам легче стало видеть многие из тех черт, что составляют её единственность. Конечно, глядя на неё, думая о ней, мы не можем быть только стороной, мы также и она сама; только раздвоясь угадаем мы даже самую ничтожную её черту; но раздвоение это как раз и стало доступнее, чем прежде. Впрочем, пусть оно трудно и сейчас... О чем же думать в эмиграции, если не о России? Как не возвращаться к мысли о ней тем чаще, чем дальше мы, казалось, отходим от неё, проникаясь чужеземным опытом?

В Эрмитаже, когда-то, я всегда останавливался перед картиной Иорданса «Семейный портрет», напоминавшей мне почему-то Россию Петра, — или Европу, как её должен был видеть русскими глазами Петр, — хотя написана она на полвека раньше и ничем не связана с петровским временем. Позднее я понял, что ошибался: в картине есть что-то не от петровской России, а от России вообще. С той её связывают лишь случайные ассоциации, с этой — одна черта, только одна, но без которой не представляешь себе образа России. Кажется, с этой черты и надо начинать, когда думаешь о ней.

В эрмитажном портрете, как и во всей живописи Иорданса, есть особое и необычайно острое чувство семьи, взаимной близости, связанности её членов, нераздельности человеческих особей в лоне вскормившего их рода. Людям в его картинах тесно и тепло; они заполняют весь холст; они живут вместе, сообща,

одною жизнью, одной душою; один начинается там, где кончается другой, один заканчивает, доживает в собственном бытии телесно-душевную целостность другого. Если у него, в собственном смысле слова, изображена семья, то дети и в самом деле соединяют в себе отца и мать, братья и сестры — разветвления одного ствола, и какой-нибудь старый дед корнями уходит в глубь родовой жизни. Вот в этом именно чувстве семейной связанности, домашнего тепла и тесноты есть что-то русское, сохранившееся в русском быту, хотя конечно, не повсюду одинаково — и хотя от него, как от многих других характерно русских черт, может ничего не остаться в будущем. Чувство это с огромной силой отражено русской литературой, и сильней всего Толстым, который, быть может, именно в этом отношении, больше, чем во всех других, — самый русский из русских писателей. Воплотилась эта черта не только в его творчестве, но и в жизни, что особенно ясно видно из воспоминаний Александры Львовны, где Толстой, да и Софья Андреевна рядом с ним, неизменно присутствуют, зримо или незримо, как священные пращуры, как домашние боги в мире простых смертных — детей, домочадцев и гостей. Подрастая, женясь, выходя замуж, дети всё же остаются нераздельными с семьей, если не в реальном быту, то в душе, в памяти, или верней, в крови: их радость и горе, их различные судьбы, даже их любви, разлучают их, но не разъединяют. Множество эпизодов и подробностей, рассказанных Александрой Львов-

ной, устанавливают необычайно крепкую связь Толстого с женой и детьми, сказывающуюся в его остром (все равно сочувствующем или враждебном) переживании любовных увлечений дочерей, в его вчувствовании в семейную жизнь сыновей, в собственной, не внешней только, но и внутреней опутанности тенетами семейных отношений. Можно думать, что и предсмертный его уход был не только результатом давно уже назревавшего решения покинуть обстановку, обрекавшую его вести не ту жизнь, какая вытекала из его учения, но и чем-то бóльшим: попыткой бежать от себя, того семейственного начала в себе самом, что всегда существовало и глухо боролось в его душе с чисто индивидуальным, не знающим ни чад, ни домочадцев, усмотрением его разума и совести.

В книгах Толстого живет такое чувство семьи, какого не знала европейская литература со времен патриархальных и которое в эти патриархальные времена не могло быть выражено так, как его выразил Толстой. «Война и мир» — повествование о семьях, больше чем о людях, и «Анна Каренина» не случайно начинается знаменитой фразой о счастьи и несчастьи семейств, а не людей. Нигде не показана так, как у Толстого, та совместность душ, что внутренне объединяет даже и очень отличных друг от друга по умственным способностям, характеру, таланту — членов одной семьи. Единство это стихийно, до-разумно; в изумительной сцене предложения Левина на

другой день после счастливого объяснения его с Кити, старые князь и княгиня не просто сочувствуют дочери, не радуются её счастью, а участвуют в нём, в самом буквальном смысле слова: дочь не до конца от них отделена; в её любви, в её будущем материнстве они с ней, её замужество — событие не личное, а родовое. Стоит сравнить эту сцену с той, что происходит у Анны с Вронским после её «падения», чтобы понять насколько для Толстого, не то, что истинна, но и вообще художественно изобразима лишь та любовь, что неразрывна с материнством и семьей. Отсюда и различие всего отношения его к любви Анны и Вронского, сравнительно с любовью Левина и Кити, различие, внушенное в конечном счете (как и весь замысел романа) не отвлеченно моральным принципом, а ощущением жизни, более непосредственным, чем всякая мораль. Любовь признается Толстым только родовая. Иную он отвергает, как человек; и даже как художник способен изобразить её, только подчеркнув её разрушительную силу (как в любви Анатоля и Наташи), обнажив её устремленность в небытие. Ни в чем так не проявилась глубина толстовского чувства семьи, как в том, что самая любовь окрашивается у него семейно и знает только одну эту родовую «сублимацию». Чувство это принадлежит, однако, не ему одному, а в некоторой мере всей России, и им самим переживается именно так: как самоочевидное и всеобщее. Он его выразил всего сильней, но его легко найти как бы в предварительном очерке у Пушкина, потом у Аксакова, у Тур-

генева, даже у Достоевского (хотя ему лично оно скорее чуждо), и характерно, что розановское обожествление пола имеет в виду первобытную детородную стихию и этим противополагается, например, проповеди Лауренса, прославлявшего, так сказать, искусство для искусства, т. е. половую жизнь ради неё самой.

Именно этой близостью эротического и семейного, исконной нераздельностью семьи с природной, дочеловеческой её основой, Россия отличается от Запада. Семейные устои очень сильны, например, во Франции, но здесь семья — учреждение, которое должно уважать, которое охраняется законом: она не дана а задана. Семью здесь основывают, как некую новую общественную единицу, её члены как бы граждане малого государства, управляемые неписанной конституцией. Она основана на праве больше, чем на морали, и на морали больше, чем на первичном, непроверенном разумом влечении. Ей присуща прочность хорошо построенного здания, но не гибкость и обновляемость живого организма. Это различие простирается за пределы собственно семьи, основанной на браке и единокровности. Если во Франции, и на Западе вообще, семья тяготеет к государству и публичному праву, то в России и сама государственная, публично-правовая жизнь как бы стремилась всегда к состоянию жизни семейственной. Наши семьи не замыкались, а распространялись. Домочадцы и даже гости участвовали в семье. «Дворовые и слуги чрезвычайно много разделяли ин-

тересов частной, духовной и умственной жизни своих господ в былое время», — говорит Версилов у Достоевского, и достаточно одной русской литературы прошлого века, чтобы уверить нас, что он говорит правду. Лакей — не только не русское слово, но и не русское понятие; зато всевозможные нахлебники и приживалки, а также отставные кормилицы, ушедшие на покой няни и окончившие службу денщики, — всегда составляли пограничную стражу русской семьи, оберегавшую её от слишком четкого чертежа внешней, жесткой, несемейной жизни.

Дело тут даже не в одной лишь семейной традиции, самой по себе. Русский и в отрицании семьи не столько ограждает свои личные права, как француз, сколько восстает против принятия ею институционной, ограничивающей, суживающей формы. Зато чувство близкое к семейному, могло возникать у нас в любой не слишком обширной социальной группе, ибо личность в России не до конца выделялась из своей среды, оставалась связанной с тем, что лучше назвать общиной, а не обществом. Эту особенность имеет в виду Ген, когда говорит, что в России «личность погружена в субстанцию семьи». Но он склонен смешивать её с патриархальностью, в строгом смыле слова, хотя patria potestas с римским оттенком государственного властвования вовсе не характерна для России. Покойный французский критик Жак Ривьер, в своей книге о Германии, рассказывает о том неизгладимом

впечатлении, какое произвели на него русские солдаты, виденные им в немецком плену, своей странной сплоченностью, как бы приклеенностью друг к другу. Быть может, даже та особая форма группового помешательства, что проявилась у русских военнопленных, содержавшихся после 1918 года в одной из итальянских лечебниц для душевнобольных, стоит в некоторой связи с этой особенностью русского душевного уклада. Люди эти молчаливо и беспрекословно подчинялись вожаку, как бы сосредоточившему в себе всем им общую душу, — волю и разум всей этой навсегда сросшейся внутренно общины. Можно истолковать это, как болезненное обострение той невыделенности лица из народа, общины, артели, семьи, которую иные наблюдатели называли стадностью; однако стадное чувство в известных условиях может овладеть скоплением людей любой национальности, любой толпою, тогда как для русских людей характерно некоторое *постоянное* ощущение своей связанности с близкими, какими бы признаками ни определялась эта близость.

Легко наметить отсюда переход к еще более русской черте: преобладанию личных отношений над отношениями профессиональными, служебными, вытекающими из общественных норм и государственных установлений. «Русский купец, — говорит Ген, — с неохотой уплачивает по векселю, даже если он миллионер. Ему трудно расстаться с деньгами, а главное его

теснит точно установленный срок. Ему хочется устроить дело полюбовно, в дружеской беседе, путем просьбы, уговариванья, обещания, лести, умиления, отказа, уступки, словом в порядке личного общения». Подмечено это верно, хотя и односторонне оценено. Бюрократическая механизация человеческих отношений никого так не пугала, как русских людей: об этом свидетельствуют, среди многих других, Гоголь в «Шинели» и Гончаров в «Обыкновенной истории»: «И каждый день, каждый час, и сегодня, и завтра и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей, — одни колеса да пружины». Позже Анна Каренина скажет с отвращением о муже: «министерская машина»; и это отталкивание от механизма повсюду чередуется у нас с его непониманием, с нежеланием признать, что он всё же налицо. Пусть иногда бестолково и невпопад, но в «должностном лице» у нас всегда склонны были искать человека, и не находя впадали в отчаяние или в негодование. Глупая чеховская старуха, сующаяся с челобитной не по адресу, путающая учреждения, по неспособности видеть что либо, кроме живых людей, — лишь карикатурное отражение этой склонности. Для русской литературы, губернатор, околодочный, делопроизводитель — либо исчадия ада, либо человеческие существа, начисто изъятые из того мира, к которому они принадлежат по должности. Толстой ненавидит суд, Салтыков администрацию, Чехов терпит лишь тех профессионалов, которые не терпят своей

профессии. Понятие городового в уме русского интеллигента приобрело метафизический смысл, зачеркнувший его бренное естество: Февральская революция, как известно, была «бескровной», хотя трупы городовых, сложенные как дрова, на невском льду, исчислялись сотнями. Наши террористы были добрые молодые люди, готовые даже и жизнь положить за будущее счастье человека, но для которых представитель государства уже не был частью человечества.

В конечном счете, отрицание государственной и всякой вообще функциональной связанности человека сводится к отрицанию того, что так почитается на Западе: морального долженствования, вообще *долга*. Русский человек, если творит добро, то не по долгу, а по любви, и вообще делать, творить, работать он хочет — как совершенно правильно заметил и Легра — только если труд ему *по сердцу*, а не в силу того, что он должен, обязан, хотя бы это долженствование ему предписывала собственная выгода или практическая необходимость. Конечно, это нередко приводит к пассивности, легко переходящей в простую лень, а ленивым бывает и моральное чувство; однако Гончаров не совсем неправ, когда, восхваляя Штольца (наделенного немецкой фамилией, да еще и намекающей на нравственную гордыню), он тайно предпочитает ему Обломова. В отрицании долга, в выведении всей морали из любви и в предпочтении этой морали праву заключается также и вера в положительное,

действенное добро, тогда как юридическая мораль приводит к системе запрещений, к пониманию добра, как простого воздержания от зла или как внешнего, иссушающего сердце исполнения закона.

Первенство личных отношений в русской его форме, отрицательная сторона которого выражается специфически русским понятием кумовства, ничего не имеет общего с персонализмом английского типа. Личность у нас оставалась недоочерченной, недовыделенной из семьи и общины, а потому и недостаточно защищенной от них, недостаточно утвержденной в своем личном праве. Нельзя, однако, смешивать этого положения вещей ни со слабостью самой личности, ни с отсутствием знания о ней и о её силе. Русское чувство личности бывает очень острым, но оно питается не столько сознанием своей личности, сколько непосредственной интуицией личности чужой. Русский человек нередко бывает вправе сказать о себе, что его интересует не столько достоинство его личности, сколько выпуклость, прелесть или странность личности другого. Оттого русский роман ищет не типического, а индивидуального, но личности автора предпочитает личность героя; оттого в русской жизни так редки были случаи, когда человек решался напрямик собою вытеснить, собою зачеркнуть другого; оттого Россия сравнительно так мало страдала от обезличивающего индивидуализма, — послереволюционного западного бедствия. И точно также женщина у нас не потому

уважалась, чтобы сумела, как в англо-саксонских странах, по-мужски отстоять себя, а потому что мужчина не сумел её обезличить, не научившись разделять того, что ему в ней нравилось, как в женщине, от того, что привлекало в ней, как в человеке.

С этой слабостью, не самосознания, а самоутвержденья, связана другая, нередко отмечавшаяся, особенность русского человека: слабое чувство собственности. В частном разговоре немец, живший в России до 1914 года, долго хвалил русских, но затем прибавил, что они, к сожалению, «diebisch angelegt», склонны к воровству. Почти такое же мнение высказал было и Легра, но сразу же добавил, что склонности к захватыванью чужого добра соответствует готовность расстаться со своим добром: русский человек отдает свое так же легко, как берет чужое. Не всегда отличая свое от чужого, он тем более не будет склонен отличать собственность от владения. Смешение это, несомненно, проникало весь русский быт, столь противоречащий твердым определениям римского права, ставшим как бы второй натурой западного человека, особенно человека латинской цивилизации. Как правило, мелкий должок не слишком тревожит русскую совесть, но зато и сам давая в долг русский человек зачастую просто дает, а не ссужает, недаром этот глагол реже употребляется у нас, чем prêter, leihen, to lend и другие западные его синонимы. Порой представляется даже, что русское моральное

сознание оценивает все имущественные отношения с точки зрения не вещной, а личной, принимает во внимание не убыток, а ущерб, оправдывает вора по бедности (или даже по богатству того, кого он ограбил), что с великим негодованием отмечает в своих записях Ген и что конечно не лишено опасности, и уж во всяком случае находится в резком противоречии с логикой римского, да и всякого вообще права.

Логика права враждебна русской совести, как и русскому уму; интеллектуальные и моральные особенности русского человека тут неразличимы. В самом деле, благодаря логической и юридической недисциплинированности мышления, стираются границы между тем, чего хочется и тем, что есть, между обещанным и осуществленным, между утверждением и предположением. Конечно, ворует и лжет и западный, а не только русский человек, но различающий оттенок заключается в том, что с одной стороны чаще преобладает голый расчет и явная корысть, с другой — известная текучесть представлений о собственности и об истине; недаром и русское слово правда означает не столько интеллектуально-отчетливое соответствие икса игреку, сколько нечто среднее между мудростью и добром. Неточен ведь и сам русский язык, по сравнению, например, с французским, и не только в смысле меньшей логической строгости в словоупотреблении и построении фразы, но даже и в самой фонетике: неударные гласные звучат неопределенно, концы слов проглаты-

ваются. Неотчетливая артикуляция — наша главная ошибка, когда мы говорим по-французски, более заметная для французов, чем все наши отдельные погрешности. Зато насколько наш язык выразительней, конкретней, а главное задушевней и горячей не только французского, но и всех других западных языков, насколько ближе к чувствам и вещам, во сколько раз живей передается в нем биение человеческого взволнованного сердца.

Ничто так не раздражает последовательного западного человека в русском, как пренебрежение логикой ради чего-то, что может быть ниже, а может быть и выше логики, как подмена права и справедливости милосердием и любовным снисхождением к слабостям — своим и чужим. Ген рассказывает о том, как немецкий врач не нашел никакой болезни у многосемейного пьяницы псаломщика и с негодованием прибавляет, что этот бесспорный диагноз вызвал всеобщее недовольство, так как детям псаломщика нечего было есть, а по болезни ему выдавали бы казенную субсидию. Кто прав? Вероятно, и сейчас большинство русских людей захочет, чтобы врач солгал и чтобы дети были сыты. Le coeur a ses raisons, которых не знает не только разум, но и запрещающая, регулирующая нравственность. Постоянное преобладание этих «доводов сердца» над разумом и моралью, ничего не знающих о них, разумеется, опасно, легко приводит к хаосу, где гибнут одновременно и милосердие, и справедливость.

Угроза хаоса означает известную первобытность культуры; культуре поздней угрожает не хаос, а чрезмерный порядок улья или муравейника. Даже Ген прекрасно понимал ту прелесть России, что зависит от её молодости и широты, от отсутствия стесняющих перегородок. В России, по крайней мере, в старой России, было нечто, чего, может быть, уже нигде на свете нет: ощущение очень большой свободы, — не политической конечно, не охраняемой законом, государством, а совсем иной, происходящей от тайной уверенности в том, что каждый твой поступок твои ближние будут судить «по человечеству», исходя из общего ощущения тебя, как человека, а не из соответствия или несоответствия твоего поступка закону, приличию, категорическому императиву, тому или иному формально установленному правилу.

Все эти черты не просто существовали у нас; они вплетались в трагическую антиномию, впервые подчеркнутую Виктором Геном, увидевшим оба её полюса и описавшим их с неизменным своим отвращением и гневом. Он не устает укорять Россию за невыделенность личного из общего, за отсутствие твердо очерченных границ, в которых могла бы утвердиться личность; существование артелей, например, представляется ему «признаком еще не пробудившейся индивидуальности»; по его словам «нравственный мир русского человека начинается и кончается семьей»; но, вместе с тем, он считает, что тот же русский человек

ценит больше всего порядок, «в механическом смысле слова», проявляет «Neigung zum mechanischen, zur äusseren soldatischen Einrichtung». «Нигде, — говорит он, — не господствует так, как здесь, отвлеченно-механическое отношение к делу, как если бы культура покоилась на известном количестве форм и формул, вводимых посредством декретов». Слова эти звучат пророчески; однако напоминают о них не только нынешние способы управления Россией, но и прежние всегдашние. Там, где кончаются «личные отношения», сразу же начинается у нас ими же вызванная антитеза; царство извне навязанной мертвенной регламентации, «военщины», «казенщины», того, за что проклинали Петра и ненавидели Николая I-го, за что, в частности, так ненавидел его Толстой. Противоположность нужно видеть здесь не между самодержавием и свободой, а между бездушием государственной машины и безгосударственной, бесформенной душевностью, к которой тяготеет русский человек. Нельзя не вспомнить и тут Толстого, описания того, как Каренин, приехавший в Москву с ясными намерениями и твердыми решениями, весь размягчается, растворяется, теряет как бы духовный свой скелет, поглощенный стихийным добродушием Стивы Облонского.

Антиномия здесь касается не только «быта и нравов», но чего-то гораздо глубже скрытого: устройства самой души. В мысли и деятельности того же Толстого первичное чувство жизни борется с рассудочным

схематизмом, проявляющимся уже в рассуждениях «Войны и мира», а затем и в поздней толстовской философии. Отвлеченное мышление у него тем больше стремится к какой-то арифметической наглядности, чем оно, по существу, протекает затрудненнее и тяжелее. Борьба которая происходит в душе Толстого, родственна той, что разделяет Россию на Облонских и Карениных, на дремотное добродушие семейственного совместного нутра и насилующие его жестокие схемы железного государства и свинцовой логики. Россия, однако, все же больше в творчестве, чем в отвлеченном мышлении Толстого, больше в Облонском, чем в Каренине, по крайней мере та Россия, которую мы знали и детьми которой останемся до конца. Самое глубокое слово о ней сказано было митрополитом Филаретом и записано Гоголем. О русском народе митрополит сказал: «в нем света мало, но теплоты много». Недаром, «светит, да не греет» — чисто русская поговорка, которой никакое «греет, да не светит» не противостоит. И разве мог бы не русский человек сказать о себе как Розанов в «Уединенном», удивительные слова, которые едва ли не вся Россия готова была за ним ежедневно повторять: «Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. Мне и тут тепло».

II

Родилась ли вообще Россия, или так и пронежилась тысячу лет в материнском лоне, так и не вышла до революции из предрассветного, утробного бытия? Разве и впрямь не дремала она, содрогаясь, вскрикивая и бормоча, но не открывая глаз — до страшного пробуждения, и то лучшее, что родилось и взошло на её просторах, не приснилось ли ей оно и не забудет ли она его так же неизбежно, как все мы забываем среди дневных дел ночные сны? Черты первобытности, «отсталости», которых так стыдились, которыми так попрекали её те, кто вечно боялся «отстать от века», хотя самый этот страх был им внушен представлением о культуре, состарившимся еще в XVIII-ом столетии, эти черты — как бы мы ни оценивали их — были несомненно ей присущи. Россия, несмотря на Петра и продолжателей петрова дела, всё еще была широко раскинутой деревенскою страной, жившей в значительной мере старой патриархальной жизнью. Обе её

культуры, горизонтальная и вертикальная, крестьянская и барская, продолжали быть едва ли не одинаково далеки от городской, научно-технической, стандартно-утилитарной цивилизации, которая уже начала вытеснять на Западе древнее наследие его подлинной духовной жизни. На эту цивилизацию не только славянофилы, но и наименее поверхностные из западников, как Герцен, взирали не без отвращенья и угадывали в ней знамения конца. Начало было в России, будущее принадлежало ей; её младенчество, её непробужденность были залогом её величия.

Так смотрели на Россию все те, кто не отчаивался в ней. Герцен напрасно считал, что лишь у него и в его лагере надежда и любовь питаются пророчеством, а в лагере Аксаковых одним воспоминаньем; на самом деле и воспоминанье, т. е. всё славянофильское превознесение древней Руси, только и имело тот смысл, что давало материал и повод для пророчества. Тютчев только в будущее России и верил, больше того: только это будущее и любил; на её настоящее отвечал равнодушием или раздражением. Пушкин в 1822 году писал: «Только революционная голова, подобная (...) Пестелю, может любить Россию — так, как писатель только может любить её язык. Всё должно творить в этой России и на этом русском языке». Это значит, что Россию можно любить только, как мате-

риал для русского будущего, как страну неготовую, недостроенную, где tout est à créer, где «всё еще нужно создать» и в области государственной жизни, и в области литературы, — мнение от которого Пушкин не отрекся бы и в тридцатых годах, хотя в революции он к тому времени и разочаровался. В каком вкусе следовало строить здание, мнения об этом сталкивались и менялись, но никто не сомневался в том, что предыдущие века самое большее заложили его фундамент и что настоящая постройка должна начаться с часу на час. Там, где культурные формы не только не превратились в формулы, но еще и не вполне сложились, там надежды сильней воспоминаний и будущее дороже прошлого. Не только в пушкинское время казалось, что всё у России впереди; это могло казаться и в наше время, потому что и девятнадцатый век Россию не довершил, оставил в ней многое нераскрытым, непроявившимся, будущим, возможным. Мы еще знали её недоделанной, неотвердевшей, готовой во многом принять тот образ, что нашему и дальнейшим поколениям казалось суждено было в ней запечатлеть. То, что ей многого не хватало, было призывом к творчеству, обещало дать смысл нашей жизни и применение нашему труду.

Неоформленность русской культуры не есть, однако, простая примитивность, и слишком много веков отделяет нас от крещения Руси, чтобы можно было эту неоформленность сводить к младенчеству. Перво-

бытность России — не просто «стадия развития», давно пройденная Западом, но удержанная русским крестьянством, а потому окрасившая в известной мере и культурную жизнь городов или образованного меньшинства. В ней есть что-то отвечающее глубокой и общенациональной потребности, которая с особенной силой проявилась в прошлом веке, в нашем лучшем веке. Есть особое свойство русской души, не мирящееся как будто ни с какой иной культурой, кроме той, что обладает чертами «недоразвитости», первобытности. При соприкосновении не со всем, но кое с чем из того, что считается задачами культуры, подымается в этой душе чувство, которое можно назвать формобоязнь. Чувство это сказалось во многих областях русской жизни и творчества в минувшем веке; оно отразилось на судьбе самого русского языка. Если взять хотя бы литературный язык и сравнить его с западно-европейскими литературными языками, легко заметить, что многое в нем как бы не установилось, не выравнялось, не приняло незыблемых и четких форм. Дело тут не только в несомненной архаичности его грамматической структуры, роднящей его с языками классической древности и от которой зависят такие его черты, как преобладание видов над временами в системе глагола или сохранение флексий, позволяющее свободно расставлять слова в предложении, но и в таких его особенностях, чтó не столько проистекают из этой архаичности, сколько её объясняют, так как восходят к некоторым постоянным (хотя большей

частью и бессознательным) стремлениям говорящих или пишущих на нем людей. Самый факт сохранности флексий и видов глагола, или таких оборотов как «мы с тобой» (вместо «я с тобой») или «у меня есть» (вместо «я имею»), указывает на общую слабость логических и аналитических потребностей, которой отвечает тяготение к выразительной или поэтической функции языка, в ущерб его функции рассудочной и практической. Синонимы у нас разграничиваются чаще по эмоциональной окраске, чем по точному смыслу, синтаксис неохотно подчиняется дисциплине разума и даже правила грамматики скорей, чем в других языках, уступают напору взволнованного чувства. Наш литературный язык свободнее всех западных в отношении словоупотребления, строения фразы, применения грамматических форм и даже произношения отдельных слов. Этой свободы он хотел, она не просто была ему дана; кажется нет другого языка, который так бы упорно отвергал всякую чересчур узкую, рассудочную, раз навсегда установленную форму.

Язык поэзии у нас зрелей и разработанней, чем язык прозы, и этого нельзя объяснить одной лишь естественной последовательностью исторического развития. Пушкин жаловался в 1824 году на то, что «метафизического языка», т. е. отвлеченной прозы, «у нас вовсе не существует» и, несмотря на все её успехи, нам и сейчас её не хватает более всего. Недаром в русской литературе повествование, сказ и живая

речь первенствуют над всеми другими видами прозаического стиля; недаром самый оригинальный и глубокий из русских мыслителей, Достоевский, был художником, как Платон или Ницше, а не ученым, как Декарт или Кант, и мыслил не отвлеченными понятиями, а прибегая к образам и мифам; недаром лучшая книга Соловьева написана в форме диалога, а лучшие книги Розанова в форме отрывков, и притом неслыханно интимным, противокнижным, закадычным языком. Средний уровень философской и научной прозы у нас и поныне весьма низок, а у величайших наших писателей небрежность языка странным образом уживается со стилистической гениальностью. Так, в «Подростке» читаем: «более высшую мысль», «знакомой рукой» (вместо «привычной»), «чем же она формулировала» (вместо «аргументировала»); а в «Анне Карениной»: «гораздо после» (вместо «позже»), «О, прелесть моя, думал он на Фру-Фру» и даже: «прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы». Писатель, у нас, как бы отказывается от пристальности в отношении слова, по настоящему всматривается в него лишь когда оно наполняется до краев чувством и ритмом, когда язык прозы превращается в язык стиха. Относительная безыскусственность русского прозаического стиля (выражающаяся также в относительной неразработанности его ритмических возможностей) как бы возводит в художественный принцип общую нефиксированность, шаткость и свободу языка. В некоторых отно-

шениях это недостаток, в других — огромное преимущество. Знаменитый языковед Антуан Мейе не без основания считал, что русская литература минувшего века в значительной мере черпала свою силу из необыкновенной свежести и жизненности языкового материала, который находился в её распоряжении. Слишком большая пристальность могла бы эту жизнь умертвить; русская литература предпочла полноту жизни совершенству формы.

Поэзия Пушкина есть чудо живой формы, безыскуственного искусства, но такое чудо повториться не могло. Трагедия культуры заключается в том, что жизнь и форма не могут быть приведены в постоянное, устойчивое соответствие. После пушкинского чуда всякая другая поэзия отвердела бы, иссохла; русская разрыхлилась, разными способами расшатала форму — не пушкинскую, а форму вообще. То же случилось с русским романом после «Героя нашего времени», с русской музыкой после Глинки; что же касается других русских искусств, то они тяготели к бесформенности и в XVIII-ом, и в XIX-ом, и продолжают к ней тяготеть в XX-ом веке. Во Франции классический стиль Империи жестко торжествен и насквозь сух, но русский усадебный «ампир» — самая мягкая, самая неархитектурная архитектура на всем свете. Первое, что бросается в глаза в портретах Шубина и Левицкого сравнительно с их французскими образцами, это опять-таки некоторая мягкость и рыхлость

форм, очень подходящая, впрочем, к характеру тех русских лиц, что они изображают на холсте и в мраморе. Приблизительно в том же духе недооформлен Венецианов, и в совсем другом, но еще менее оформлен Суриков. Крушение передвижников объясняется не отсутствием таланта, а тем что они стыдятся живописи и заботятся о чем угодно, кроме нее. Затаенная боязнь формы приводит к применению готовых форм, каких попало, в надежде, что вывезет «нутро». Музыкальная грамматика Запада отталкивает русских музыкантов и гений Мусоргского обходится без нее, а Чайковский, усвоивший её вполне, относится к ней с опаской и потому не умеет где нужно её сломать. Некрасов так шарахается от всякой формы, что нет, нет да и напялит на себя такие жалкие её побрякушки, от которых непременно отказался бы последовательный и строгий формалист. Но всё это не просто изъян; это лишь обратная сторона величия русской литературы и русского девятнадцатого века. Формобоязнь так же неразрывно связана со всем лучшим, что у нас есть, как наивно-прямолинейное отрицание искусства у Толстого с толстовским художественным гением.

Та непосредственность, что так поражает иностранцев в русской актерской игре, русском танце, пении, русском романе, что заставляет их в недоумении спрашивать себя, где же кончается русская манера жить, русский обиход и где начинается искусство

Толстого или Чехова, эта непосредственность, прямота, простота есть лишь следствие того недоверия к форме, той боязни, что она солжет, которыми одержим русский человек и ради которых он способен отбросить всякое искусство. Чувство это приводит к злейшей расхлябанности слова, как в стихах Полонского или Случевского, к слабости композиционных, т. е. рассудочно-волевых элементов в живописи и архитектуре, в музыке и романе, к недостаточной диференцированности чувственных восприятий, что сказывается, например, в отсутствии последней колористической зоркости у живописцев или в ритме прозы, то невполне проверенном (как у большинства), то чересчур подчеркнутом (как в лирических периодах Гоголя или Андрея Белого). За пределами искусства, тот же инстинкт ведет к отрицанию иерархического принципа, признание которого смешивают у нас с чинопочитанием, и к непременному восстанию не столько против власти как таковой, сколько против власти, облеченной интеллектуальным или моральным авторитетом. Иерархия и авторитет — духовные формы, которые русский человек отказывается свободно признавать, предпочитая, чтобы их грубая материализация была навязана ему силой. Точно так же отказывается он считаться с тем расстоянием, что отделяет всякого человека от всякого другого человека; отсюда фамильярность — от лобзаний до рукоприкладства — в отношении высшего к низшим, смесь неуважения с подобострастьем в отношении низших к высшему, а

между равными — распространеннейший из русских видов пошлости: панибратство. На иных путях та же боязнь формы ведет к бесчеловечной жесткости или к ненужной притязательности форм там, где обойтись без них представляется невозможным: к табели о рангах и «кнуто-германской империи» или к педантически-возвышенному и неосуществимо-грандиозному замыслу «Мертвых Душ» или ивановского «Явления Христа народу». Доведенная до предела формобоязнь легко переходит в решительное формопоклонство; Кутузов и Сперанский, Бакунин и Пестель одинаково русские умы, и несносная накрахмаленность брюсовских стихов — только реакция против души на распашку его предшественников.

И всё-таки, за всем этим скрывается то самое, что составляет наибольшее своеобразие и величайшее сокровище русской культуры: ее всё еще расплавленное, не застывшее, как у других народов, религиозное, христианское ядро. Боязнь формы в самых глубоких своих корнях есть ни что иное, как боязнь самодовления любой ценности, забывшей о всеединстве, пренебрегающей своим оправданием в религии. В искусстве, да и не только в искусстве, она оборачивается прежде всего боязнью красоты, — любой красоты, которая не есть одновременно правда и добро и которая именно поэтому грозит оказаться риторикой, декорацией, пустым блеском, суетой и мишурой. «Не говори красиво» — не только девиз такого симпатич-

ного тургеневского нигилиста, но уже и завет Пушкина, чье отвращение к фразе, к изящному иносказанью, к многословной украшенности речи отнюдь не внушено одной лишь эстетической разборчивостью. Не надо быть русским, чтобы ценить сдержанность, трезвость, четкость, в жизни и в искусстве; такие требования нередко предъявлялись к человеку и к художнику у всех народов и выполнение их повсюду приводило к простоте, отбрасыванью лишнего, к честной прямоте приемов и манер. Однако Пушкин хочет простоты, прежде всего потому, что ищет правды, и никто не станет смешивать рецептов классицизма или джентльменства с русским презрением ко всему, что можно назвать духовной нарядностью, с русской тягой к святой и убогой наготе. Тут нет ничего общего с трезвостью, сдержанностью и четкостью, тут не призыв к умеренности и добрым нравам, а совсем иная жажда, идущая из совсем иной душевной глубины. Древнерусское искусство иконописцев, зодчих, проповедников не боялось формы и не стыдилось красоты, потому что красота была для него лишь сиянием Божьей славы, которое даже и не мыслилось отдельно от её источника. Зато величайший русский художник нового времени, Александр Иванов, вопреки придуманному своему неверию, именно стыдится своего дара и лучших своих удач, и мечтает лишь о той картине, где должны воплотиться истина (археологическая) и добро (сведенное к рассудочной морали). Отсюда же про-

истекает толстовское отношение к искусству, и его же, как и многих русских людей, отношение к истине. Слишком многие у нас стыдились обоих, поскольку не усматривали в них никакой связи с практической нравственностью. Русское неуважение к науке, как таковой, столь же мало похоже на западный утилитаризм, как русская боязнь искусства на западное пуританство; у нас подмешивали добро к истине и красоте лишь потому, что, сами того не зная, жаждали их растворения, их единства в том всеобъемлющем сиянии.

Той же тоской по нем, тем же ущербом его осознанности, при еще непотушенном христианском пламени внутри, объясняется вероятно торжество в русской культуре нового времени того религиозного мотива, что на богословском языке называется кенотическим*. Это мотив исконно-христианский, могущественно представленный в древней Руси, хорошо известный Западу (наряду с Достоевским, его величайший выразитель в искусстве — Рембрандт), но который никогда с такой исключительностью не проникал целую культуру, как это случилось в России в девятнадцатом столетии. Державин был кажется последним русским, видевшим Бога на престоле, во славе; после него никто не видел Его вверху, а все внизу. Прозрения Достоевского о

* От греческого слова «кенозис» — унижение, само-истощение (Христа).

Богородице — матери сырой земле так же относятся сюда, как его Мармеладов, Мышкин, «дитё», как всё его творчество, как вся русская литература (идущая не от «Шинели», а от «Станционного смотрителя»), как всё русское «кающееся дворянство» и народничество, как мужицкий Христос Толстого и красноармейский Христос Блока. И не только в непосредственно-религиозных видениях, в непосредственно-религиозном опыте сказывается эта основная склонность русской души, но и в той зачарованности всем смиренным, униженным, падшим, что «сквозит и тайно светит» повсюду, в самом глубоком, что было у нас создано. Быть может в 1830 году, в Болдине, начинается кенозис русского искусства, который, несмотря ни на что, не кончился и сейчас. Когда читаешь:

Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, ждут первого Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он, несет подмышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал, да церковь отворил,
Скорей! ждать некогда! давно б уж схоронил...

сомневаться нельзя: это и есть та поэзия в рабском виде, та святая убогость, та смиренная красота, для

которой Тютчев нашел кратчайшую поэтическую формулу и которую давно успел заметить и понять даже и «гордый взор иноплеменный». Больше сорока лет назад, Жак Ривьер, прослушав «Бориса Годунова», писал: «мелодия Мусоргского, это повесть об уничижении» и развивал свою интуицию в короткой, но замечательной статье, лучшей, быть может, из всего, что написано об этой музыке. С тех пор многие на Западе сумели понять, что значит у Достоевского непереводимое это слово: «Кроткая», и тайное свечение открылось многим. Конечно нельзя объявлять кротость, отсутствие фарисейства и даже «милость к падшим» неотъемлемыми чертами русского характера, хотя и верно сказал Розанов: «Ницше почтили потому, что он был немец, и притом страдающий (болезнь). Но если бы *русский* и *от себя* заговорил в духе: «падающего *еще толкни*», — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать». Нельзя в смирении, в уничижении видеть (как хотел этого Достоевский в Пушкинской речи) осуществленную добродетель, победу принципа «смирись, гордый человек»; однако именно на этих свойствах основан русский идеал человека, русское представление о добре и святости; на этих дрожжах взошла вся новая русская культура.

Культура всегда — здание, построенное на вулкане и достраиваемое неустанно из охладевшей лавы последнего извержения. Здание колеблемо подземными толчками и грозит обрушиться на своих

строителей, но оно стоит, пока не потух вулкан, и лишь без его огня оно погибнет. Мы знаем со времени «Рождения трагедии», на какой зыбкой основе высятся греческий Акрополь и греческий Олимп. Буддийская культура построена на культе священного уничтожения, мусульманская на противотворческом понятии рока, христианско-европейская на сверхкультурных ценностях, с точки зрения которых сама культура серединна: ни горяча, ни холодна. Здание русской культуры, части христианской, было построено из неостывшей лавы и должно было рухнуть от первого землетрясения. Зато пламя так подлинно в ней пылало и такой жар исходил из её недр, что он мог согреть и оживить весь христианский мир, заново разжечь его потухающую сердцевину. В минувшем веке вулканическое начало нашей культуры всего полней было олицетворено Достоевским, а дух зодчества, осуществления формы — Пушкиным; однако и Пушкин в ту Болдинскую осень заглянул на самое дно своей души, и Достоевский, через пятьдесят лет после того, пророча о Пушкине, мог опереться на здание русской культуры, хоть и говорил от имени её скрытого подземного или небесного огня. Для нас теперь, да и не только для нас, всё это слилось воедино. Не многого стоило бы здание, если бы не было в нем пылающего очага, и хоть рухнуло оно именно потому, что не могло вынести внутреннего жара, всё-таки всё, что миру

дала Россия, из этого сердца родилось и на себе несет его жгучую печать. А если под камнями и щебнем тлеет былой огонь, если когда-нибудь разгорится он новым пожаром, тогда восстанет и Россия, и снова возвестит миру оборвавшуюся на полуслове ей одной преподанную весть.



ПУШКИН И ЕВРОПА

Пушкин — самый европейский и самый непонятный для Европы из русских писателей. Самый европейский, потому же, почему и самый русский, и еще потому, что он, как никто, Европу России вернул, Россию в Европе утвердил. Самый непонятный, не только потому, что непереводимый, но и потому, что Европа изменилась и не может в нем узнать себя.

Лучшее, что сказал в пушкинской речи Достоевский, это слова о «всемирной отзывчивости» Пушкина, истолкованной им, как высшее выражение общенациональной черты, всеотзывчивости русского народа. С тех пор, кажется, все согласились с ним, да и как отрицать пушкинскую открытость чужому или свойственные русскому человеку восприимчивость, переимчивость, гибкость, умение приспособляться (черты получающие подчас окраску не такую уж и отрадную). В двух отношениях, однако, Достоевский не сказал всего или даже сказал не совсем то, что было бы нужно сказать на эту тему. Он не указал особого направления пушкинской отзывчивости, поставившего

ей известные цели и пределы; а в отзывчивости, самой по себе, не пожелал узнать черту, присущую в той или иной мере всякому вообще гению.

Быть гением, это не значит уметь обходиться без чужого (в том числе и национально чужого); это значит уметь чужое делать своим. Гений не есть призвание к самоисчерпыванию, но дар приятия и преображения самых бедных оболочек мира. Очень часто он состоит в способности доделать недоделанное, увидеть по новому то, что уже было видено другими. «Буря» — единственная драма Шекспира, чья тема и многочисленные черты её разработки не заимствованы у одного или нескольких предшественников. Зерно «Фауста» — пьеса для кукольного театра, а последние два сборника Гёте — подражания персидской и китайской поэзии. Восприимчивость столь же существенная черта гения, как и оригинальность (не та, которой приходится искать, а та, от которой нельзя избавиться); однако гении узкие и глубокие менее щедро ею наделены, чем те, что покоряют гармонией и широтою. К ним относится Пушкин; его творчество напоминает Ариосто, стихи которого легко внушают мысль, что он лишь вполне удачно повторил не столь удачно сказанное другими, или Рафаэля, в чьем искусстве терпеливый знаток, начисто лишенный художественного чутья, нашел бы только полный инвентарь всего, что сделали итальянские мастера за предыдущее полстолетие.

От гениев ему родственных Пушкина отличает, однако, глубокая осознанность его дара впитывать и преображать, и особенно сознание той роли, которую призван выполнить этот дар, не только по отношению к его собственному творчеству, но и ко всему будущему творчеству его народа. Принимая или отбрасывая ту или иную часть русского литературного прошлого, он знал, что и современники, и потомки последуют его примеру. Отбирая и усваивая всё то, что можно было усвоить в литературном наследии Европы, он знал, что усвоение это совершает сама Россия, при его посредничестве. Призвание поэта было ему дорого, но он не забывал и писательского долга перед языком, ему дарованным, и литературой, этим языком рожденной. Долг этот был, разумеется, не насильственным, а любовным, не переходил никогда в докучную обязанность. Им были внушены занятия русской историей, изучение народной поэзии, записи песен, подражания сказкам, но еще более толкал он Пушкина в другую сторону: к приобщению всему тому, что составляло духовную мощь Европы, что принадлежало по праву рождения, как европейской нации, и России, но чего Россия была веками лишена вследствие направления, принятого некогда её историей. Дело это было прямым продолжением дела Петра, дела Екатерины, перенесенного в область, где оно могло совершаться беспрепятственней, но где оно тоже не могло обойтись без самоотверженного труда. Чем больше Пушкин жил, тем больше должен был пони-

мать, что это и было его дело. В последние годы после женитьбы он с особенным усердием выписывал в свою библиотеку и читал иностранных авторов по возможности на их собственном языке, вникал в их мысль и в средства её выражения, переводил их, либо для печати, либо для того чтобы лучше усвоить созданные ими приемы и привить их русскому языку и русской поэзии.

«Переводчики — почтовые лошади просвещения». Вслед за Жуковским, не погнушался и он впречься в тяжелый рыдван западной литературы и тащить его по русским ухабам, даже и выбиваясь иногда из сил. «Мера за меру» — гениальная, хоть и не вполне удавшаяся драма Шекспира, но попытка Пушкина сгустить её в поэму гениальность устранила, удалась же она гораздо менее. Точно также и стихотворное переложение из Бэньянова «Странника», несмотря на восторг Достоевского, к лучшим его созданиям отнюдь не принадлежит. Однако сожалеть о затраченном на эти попытки времени было бы близоруко, тем более, что и «Пир во время чумы» — перевод, еще в большей мере, чем «Анджело», но всё же осуществивший то чудо, которое Пушкину так часто удавалось совершать. Самый выбор переведенного отрывка, лучшего куска в безразличной пьесе посредственного автора; дословность перевода большинства стихов и легкая, но решающая переделка немногих; замена обеих песен, использующая мотивы уже намеченные у Вильсона, но

меняющая окраску целого и дающая ему новый смысл; всё это свидетельства именно пушкинского переимчивого и преображающего гения. Неизбежность преображения была такова, что завзятым переводчиком, как Жуковский, Пушкин не сделался; ему даже казалось, что и Жуковский переводит слишком много, — сам он больше подражал и переделывал, тем самым продолжая, однако, деятельность того, кого недаром называл учителем. Переделки могли не удаваться, но здесь и намерение важно, не только результат, да и не в отдельных удачах или неудачах дело; дело в том, что Пушкин всю жизнь дышал воздухом европейской литературы и так впитал её в себя, что вне её (как, разумеется, и вне России) становятся непонятны основные стимулы и задачи его творчества.

Это едва ли не единственный случай в истории литературы, чтобы великий поэт, величайший поэт своей страны, признавался, что ему легче писать на иностранном языке, чем на своем, и действительно писал на этом языке свои любовные письма и письма официального характера, а также предпочитал бы обращаться к нему для изложения мыслей сколько-нибудь отвлеченных. Когда ему надо было рассуждать, он делал это большей частью по-французски, и русское выражение редко приходило ему первым на ум, как это показывают черновики его критических писаний. На французской литературе был он воспитан больше, чем на русской, и не отрекся никогда от иных

кумиров своей юности, — Парни, Вольтера, не говоря уж о Шенье, которого полюбил немного позже. Впоследствии, правда, его отношение к ней резко переменилось; он осуждал и её традицию в целом, и особенно строго судил современников, продолжая, впрочем, усердно их читать; пощадил он из них, в конце концов (если не считать Шатобриана и г-жу де Сталь, которых уважал), только Стендаля, Мериме, Жанена, Сент-Бева и автора «Адольфа», романа особенно им любимого. Как он, однако, против французской литературы ни восставал, своей давней с ней связи он порвать не мог, и даже Буало не окончательно перестал законодательствовать на его Парнасе, хотя бы в том смысле, что так и не позволил ему оценить домалербовскую эпоху французской поэзии. Если не его стихи, то его проза до конца свидетельствуют об этой связи, и Мериме был прав, когда по поводу «Пиковой дамы» писал Соболевскому: «Я нахожу, что фраза Пушкина совершенно французская фраза, т. е. французская фраза XVIII века, потому что нынче разучились писать просто».

Как бы высоко ни оценивать, однако, значение для Пушкина той французской литературной стихии, которую он с детства в себя впитал, оно во всяком случае не перевесит того, что ему дало свободное и глубокое увлечение литературой английской. Французское влияние было неизбежным и всеобщим, английское он выбрал сам; французское можно сравнить

с тем, что дает человеку рождение и семья, английское — с тем, что ему позже может дать любовь и дружба. Ни об одном французском писателе он не служил панихиды, как о Байроне, через год после его смерти. «Отца нашего Шекспира» он конечно с совсем другим чувством читал, чем на лицейской скамье какого-нибудь Вержье или Грекура, да и то, что он уже в 1824 году думает о Расине, отнюдь не похоже на юношеские восторги Достоевского. «Скупой рыцарь» недаром выдан за перевод с английского, а «Пир во время чумы» с английского переведен. В «Борисе Годунове» больше Шекспира, чем Карамзина. Без Вальтер Скотта не было бы «Арапа Петра Великого», «Капитанской дочки», «Дубровского», а, быть может, и «Повестей Белкина». Притом дело тут вовсе не в том, что историки литературы любят называть влиянием, т. е. в использовании подходящих приемов и материалов, а в ощущении внутреннего родства, постепенно идущего вглубь по линии от Байрона к Шекспиру. Характерно, что единственным литературным направлением современного ему Запада, чьи художественные принципы Пушкин вполне одобрял, была английская «озерная школа», своё отношение к которой он подчеркнул тем, что подражал Вордсворту, переводил Соути, обратил внимание на близкого к ней Вильсона и заботился о переводах из Барри Корнуола, для «Современника», еще в утро последней дуэли. Всего характернее, однако, отношение его к одному из поэтов этой школы, которого в зрелые годы жизни он любил едва ли

не больше всех своих западных современников: к Кольриджу.

Европейскому читателю, не знающему русского языка, очень трудно дать понятие о стихотворной технике и поэтическом стиле Пушкина, но ближайшее к ним, что ему можно на Западе указать, это всё же Кольридж. Несмотря на огромное различие мыслей, чувств и всего душевного склада, нет другого великого европейского поэта, чей стих, стиль, чье отношение к слову так напоминали бы Пушкина. «Remorse» и «Zapolya» несравненно слабее «маленьких трагедий», главным образом вследствие вялости построения и связанных с ней длиннот, но общий тон, окраска диалога, отношение фразы к стиху (то, что французы называют coupe) в них очень близки к пушкинским. Как насыщенный пушкинский стиль, с его сплошной игрой гласных и согласных (типа «Медного всадника»), так и обнаженный (типа «Румяный критик мой...» или «Пора, мой друг, пора...») находят себе подобие в стихах Кольриджа и больше нигде или почти нигде. Объясняется это не влиянием, а родством; не родством души, но поэтической совести и поэтического вкуса. Пушкин недаром читал и перечитывал[1] эти родственные ему стихи, недаром собирался было из «Remorse» взять эпиграф для «Анчара», а гораздо позже,

---

[1] «Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ездя по соседям». 1831 («Заметки о холере»).

из материалов для «Папессы Иоанны», составить поэму в стиле «Кристабель». Он должен был чувствовать к Кольриджу нечто вроде братской любви поэта к поэту. Когда вышла книга стихов его сына, он немедленно её выписал. Смерть его была Пушкину не безразлична, как видно из надписи на сохранившемся среди пушкинских книг экземпляре «Застольных бесед»: «Купл. 17 июля 1835 г., день Демид. праздн. в годовщину его смерти»[2]. Уже после смерти Пушкина, вдова его получила счет от книгопродавца на заказанную им книгу «Разговоров» Кольриджа. Этих разговоров он не прочел, но заочную беседу с английским поэтом, с тех пор, как познакомился с ним и пока был жив, он едва ли прерывал на долго.

Теплота отношения к Кольриджу характерна и для этого особого братского чувства, и в то же время для отношения Пушкина к западной литературе вообще. Современников он читал жадно, и всегда с радостью, даже с восторгом отмечал то, что ему у них нравилось, будь то роман Манцони или стихи Сент-Бева. Но еще сильней тянуло его к предкам. Глубокое преклонение перед Гёте, как и чувство, какое испытывал он к Данте, Петрарке, Сервантесу, Кальдерону, Шекспиру, Мильтону и многим другим, не может быть

---

[2] Дата не совсем точна, но близка к верной. Кольридж умер 25 июля 1834 года. Упомянутая тут книга вышла в 1835 г. В 1836 г. вышли упоминаемые далее «Разговоры» (Letters, Conversations, and Recollections of S. T. Coleridge).

названо иначе, как сыновней любовью. Их имена были для него священны, как и всё прошлое западных литератур; они все, не один Вальтер Скотт, были «пищею души»; они все, не один Шекспир, были его «отцами», в несколько ином, но едва ли и не в более глубоком смысле, чем это можно сказать о Державине, Жуковском или Карамзине. С русской стороны у колыбели Пушкина не столько им противостояли русские писатели, сколько противостоял сам русский язык, в который Пушкин как бы их включил, подняв его на высоту их мысли, их искусства. Язык этот он заставил совершать чудеса, и притом так, что они совершаются как бы сами собой, точно сам язык сделался поэтом. Разве не одной уж прелестью языка хотя бы и первая глава «Евгения Онегина» лучше Байрона, а «Капитанская дочка» лучше Вальтер Скотта? По размаху творческого воображения Пушкин не был равен Данте, Шекспиру или Гёте, но достаточно прочесть «Сцену из Фауста», «Подражание Данту» и монолог скупого рыцаря, этот несравненный образец прививки шекспировского стиля иной поэзии и иному языку, чтобы убедиться, что в пределах отрывка, образца (что уже не мало, потому что ткань гения везде одна) он сумел потягаться с ними, стать их спутником, оставаясь в то же время самим собою. Чудо гения, во всех этих случаях, есть прежде всего чудо самоотверженной любви. Но любовь выбирает и не может не выбирать; это не просто «всемирная отзывчивость».

II

«Россия по своему положению, географическому, политическому и т. д. есть судилище, приказ Европы. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны». Слова эти, написанные в 1836 году, свидетельствуют не о национальном самопревознесении, которого от Пушкина не приходится ожидать и которому противоречит ирония последней фразы, а о понимании той истины, что русскому легче разобраться в западных спорах, чем западным людям, разделяемым национальными предрассудками и наследственной враждой, к которым Россия долгое время не имела отношения. В области литературы, русскому легче, чем французу или англичанину, одновременно полюбить Шекспира и Расина; кроме того — и это еще важней — ему легче почувствовать то, что несмотря на все различия у них есть общего: их европейство. Немец, француз, англичанин воспринимают друг друга прежде всего как чужих, и в чужом узнают свое лишь в противоположе-

нии чему-либо еще более чужому; русский же способен в каждом из них воспринимать европейца прежде всего, а потом уж немца или англичанина. Если бы Пушкин продолжил свою мысль (внушенную чтением книги Шевырева о западной литературе), он нашел бы, что Европу, как целое, всего легче увидать, если глядеть на нее именно из России. Не об этой ли Европе он думал, когда писал Чаадаеву, в ответ на приглашение пользоваться русским языком: «Mon ami, je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la notre»[3]. Французский язык был для него не столько языком Франции, сколько языком европейского образованного общества; он открывал ему отчасти доступ и к другим литературам, хотя настоящего ключа к ним всё же не давал. Французская литература была лишь частью европейской и не могла заменить целого, а к этому целому он и стремился, только оно и могло его удовлетворить.

Не только понятие европейской литературы было Пушкину близко, он пользуется и самым этим выражением. Оно встречается в наброске предисловия к «Борису Годунову» в том месте, где критикуются те «журнальные Аристархи», что «самовластно разделяют европейскую литературу на классическую и романтическую», т. е. забывают о её единстве. Достойно

---

[3] «Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы. Он более близок мне, чем наш собственный».

внимания, что слова эти написаны в том же самом 1827 году, когда Гёте, в разговоре с Эккерманом и в знаменательной журнальной статье, создает своё понятие всемирной литературы. Две эти концепции совершенно не равнозначны; с известной точки зрения они даже противоположны, и расхождение это вызвано тем, что отношение обоих поэтов к соответствующим вопросам на протяжении их жизни изменялось в противоположном направлении. Гёте к старости всё более расширял свой кругозор в сторону Индии, Персии, Китая; Пушкин, напротив, приближаясь к зрелым годам, постепенно суживал его, ограничивал пределами Европы. После возвращения с юга он уже не выписывал турецких слов в свою тетрадь; после 1824 года не написано ничего, что могло бы сравниться с «Подражаниями Корану». В апреле 1825 года он пишет Вяземскому: «Знаешь, почему не люблю я Мура? Потому, что он чересчур уж восточен. Он подражает — ребячески и уродливо — ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. Европеец и в упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и взор европейца». Впрочем, уже и за три года до того он писал из Кишинева тому же Вяземскому о том же Муре, как о «чопорном подражателе безобразному восточному воображению». Возможно, что недоверие к Востоку было у Пушкина отголоском классицизма, но дело тут вообще не в недоверии, не в отталкивании, вовсе не таком уж и остром, а в слишком сильном притяжении Европы, которую надлежало России вер-

нуть, в России укоренить. У Гёте забот этого рода не было, оттого он и размышлял о всемирной литературе, а Пушкин о европейской.

Но больше того. Даже и внутри европейского литературного предания Пушкин различает как бы два разных пласта, усвоение которых Россией не одинаково неотложно и насущно. В 1830 году он пишет: «С тех пор, как вышел из Лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка, перечитывать некогда. Замечательные книги теснятся одна за другой, а никто нынче по латыни их не пишет. В 14 столетии, наоборот, латинский язык был необходим и справедливо почитался первым признаком образованного человека». Чем латинский язык был для Петрарки, тем французский был для Пушкина. Латынь не совсем исчезла с его горизонта, принимался он и за греческий язык, однако центр тяжести был в другом, и об этом, а не только об устремлении личных вкусов, сказано с полной ясностью уже в 1825 году в письме к Бестужеву. «Изучение новейших языков должно в наше время заменить латинский и греческий — таков дух века и его требования»; этим требованиям Пушкин и стремился удовлетворить. Будучи с детства обучен лишь французскому языку, он позже познакомился — хоть и поверхностно нужно думать — с итальянским и немецким, усердно изучал английский и достиг вероятно хорошего его знания (только с произношением так и не сладил до конца),

занимался испанским, переводя отрывки из «Цыганочки» Сервантеса. Инстинкт поэта помогал ему и там, где знания не доставало, и благодаря этим часам, проведенным над грамматиками и словарями, русский язык «столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам» получал пищу нужную ему, вступал во владение Европой.

Этим и была прежде всего Европа Пушкина: романо-германским миром средних веков и нового времени, христианским Западом с его пятью главными литературами на пяти великих языках. Конечно он помнил то, чего не забывал и Гёте, несмотря на все свои экзотические увлечения; он знал что основа и корень Европы в греко-римской древности, что порвав с ней связь, Европа перестанет быть собою; но и тут положение его было не то же, что у Гёте: путь его к древнему миру пролегал не прямо, а только сквозь новый европейский мир. Пушкин отлично сознавал, что у России есть собственная античная традиция, идущая непосредственно из Греции, через Византию, минуя Рим, традиция неотъемлемая, укорененная в религии и в языке, в глубочайшем достоянии народа. Разумеется, он совсем и не думал эту традицию устранять, но делу соединения России с Западом она не помогала, скорей ему препятствовала, приводя к тому, что у Запада и у России оказывалось как бы две разных античности, мало чем связанные между собой.

Надлежало эти традиции сблизить, утвердить сознание общеевропейского классического наследия. К этому Пушкин и стремился, во многом вполне сознательно, и притом двояким образом: прежде всего в своей работе над литературным языком, добиваясь в нем равновесия между элементами западного и церковнославянского происхождения (с преобладанием чисто русских), а затем еще и ведя русскую литературу не прямо к Греции и Риму, а к их живому преданию в западных литературах, ко всему тому, что исходя из этого предания было создано.

Пушкинской отзывчивости им самим были поставлены пределы, пушкинскую Европу он сам очертил уверенной рукой, и однако знание границ никогда не означало у него узости, и европеизм его был вполне свободен от основного изъяна позднейшего западничества: поклонения очередному изобретению, «последнему слову», от склонности подменять западную культуру западной газетной болтовней. Ему то уж, конечно, были вполне чужды «невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне», эти признаки «полупросвещения», которые он так сурово осудил в Радищеве. Его Европа современностью не только не исчерпывалась, но и чем дальше, тем больше ей противополагалась. Он воспитался на литературе восемнадцатого века, но дальнейшее развитие его заключалось не в том, чтобы он старался поспе-

шать за девятнадцатым, а в том что он как бы возвращался вспять к семнадцатому, к шестнадцатому, к великим векам Европы, и к другим не меньшим, но более ранним её векам, так что современная французская литература представлялась ему вырождающейся, упадочной. Байрона ему заменил Шекспир, уже не Парни, а «ветхий Данте» у него в руках, и даже старофранцузский «Roman de Renart» так его увлек, что он перевел на новый французский язык его начало. Правда, интересы и вкусы такого рода мог воспитать в нем и сам современный ему европейский романтизм; книга Августа-Вильгельма Шлегеля по истории драмы, вероятно, сыграла не малую роль в расширении его литературного кругозора: однако это и есть главное или почти всё, что он от романтизма получил, как это видно уже из того, какой он смысл вкладывал в самое это слово:

Так он писал *темно* и *вяло*
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут ни мало
Не вижу я; да что нам в том?)

Эти строки, как и многие другие высказывания Пушкина, свидетельствуют о его нежелании называть романтизмом то, что все вокруг него называли этим именем. Ленский — романтик в общепринятом смысле слова, и его романтизм Пушкину не нравится; но существует еще и другой, настоящий романтизм, с кото-

рым у Ленского нет ничего общего; что же он такое? На это у Пушкина легко найти ответ. Для него Гёте — «великан романтической поэзии»; «Борис Годунов» — «истинно романтическая трагедия», потому что построена по правилам шекспировской драматургии; Данте для него — зачинатель романтической поэзии, которая, как мы видим, отнюдь не ограничивается (что отвечало бы первоначальной английской терминологии) средними веками, — для средневековой поэзии у Пушкина есть особый термин: «готический романтизм». К романтической литературе относятся у него, как это он особенно ясно высказал в известном историко-литературном наброске 1834 года, и Ариосто, и Тассо, и Спенсер, и Мильтон, и великие испанцы, и Монтэнь, и Рабле, и даже «Сказки» Лафонтэна и «Орлеанская девственница» Вольтера[4], т. е. вся западная литература от Данте до Гёте, за исключением французской классической трагедии. Такое словоупотребление тоже по всей вероятности было внушено ему Шлегелем, но в самом понимании дела Пушкин отходит от него и недаром, уже ознакомившись с его книгой, пишет (в 1825 году Бестужеву): «Сколько я ни читал о романтизме, всё не то». Различие тут в том, что Шлегель самого себя и своих друзей ощущал прямыми продолжателями Данте, Шекспира и Гёте, тогда как Пушкин противополагал этим гениям своего Лен-

---

[4] Два последних произведения, очевидно, лишь по материалу в них использованному.

ского и всех Ленских вместе с ним. В его понимании, романтическая литература противополагалась не только классической древности, но и романтизму его современников; и если к такому словоупотреблению возврата нет, то именно оно окончательно уясняет нам пушкинскую идею европейской литературы.

Пушкин весь обращен не к сомнительному будущему, а к несомненному и великому прошлому Европы. Он её еще видел целиком такой, как она некогда была, а не такой, как постепенно становилась; именно эту Европу он для России открыл, России вернул, не «просвещение», от которого исцелился, не романтизм, которым так и не заболел, а старую, великую Европу, в её зрелости, в её здоровьи, с еще не растраченным запасом поэтических, творческих её сил. К этой Европе он сам всем своим существом принадлежал, будучи русским, любя Россию и её одной и той же сыновнею любовью, и если «Европа тоже нам мать», то потому, что Пушкин, не на словах, а всем творчеством своим назвал её матерью. Он был последним гением, еще избегнувшим романтического разлада, еще не болевшим разделением личности и творчества, формы и души. Когда-то это понял Мериме, полюбивший его издали, видевший французское в его прозе, но греческое в его стихах, поклонявшийся в нем последнему божеству своей собственной духовной родины. Другие этому божеству изменили; как же им было понять творения поэта, метко застреленного европейцем, но пло-

хо переведенного на европейские языки? Европа восхищается воспринятой на азиатский лад, искусственно-экзотической Россией, но в Пушкине не узнает себя; если же узнает, то узнанного не ценит: ей хочется чего-нибудь поострее, поизломанней... А Россия, знает ли она еще, что Пушкин не только Пушкина ей дал, но и Данте, и Шекспира, и Гёте, — а потому и Гоголя, и Толстого, и Достоевского, — что в его творчестве больше чем во всех революциях и переворотах совершилась судьба её самой, что из всех великих дел, начатых или задуманных у нас, ни одно так сполна не удалось, но ни одно и не предано так всей историей нашей через сто лет после него, как именно его дело?



ТЮТЧЕВ И РОССИЯ

Казалось бы, всем известно, что думал Тютчев о России и какой любовью он её любил. Славянофильские мечты и ура-патриотические чувства, коими вдохновлены многие из лучших его стихов, как будто не оставляют на этот счет никаких сомнений. В том же свете воспринимают обычно и его французские статьи, а эпиграммы и bons mots противоречащие им, легко истолковываются, как обычное фрондёрство. На самом деле, однако, нет у нас писателя, чье отношение к России было бы противоречивей и сложней. Это раскрывается в его письмах, читаемых мало, хотя только в них дается ключ ко многим сторонам его личности и творчества[1]. С их помощью можно попы-

---

[1] Прежде всего я, конечно, имею в виду письма к его второй жене, рожд. баронессе Пфеффель (по первому мужу Дёрнбург). Они были изданы во время войны 1914-1918 гг. в четырех выпусках малораспространенного журнала «Старина и Новизна», к сожалению, с пропусками и вообще довольно небрежно. Небезупречен и сделанный для этого издания перевод их французского тескта. Цитаты из них я привожу в заново сделанном переводе.

таться проникнуть в одну из тютчевских тайн, идя от поверхности к глубине, от наружного слоя к тому, что скрыто под ним, а оттуда, быть может, и к третьему, еще более глубокому.

I

Один из самых удивительных парадоксов тютчевской жизни (и всей истории поэзии) заключается в том, что ум его, во всю эту жизнь, был по настоящему занят одним: политикой. Источник поэтического творчества в душе его не оскудевал до последних дней, но внимание его ума, если когда либо направлялось на литературу, хотя бы и стихотворную, то лишь в молодости, и то не настолько, чтобы сделать его литератором или хоть внушить ему заботу о судьбе собственных стихов. Ни к каким писательским группировкам Тютчев не принадлежал, ни одной строчки на русском языке, кроме стихов, не напечатал. Отзывы о литературных произведениях в его переписке редки и случайны, и ни одного общего суждения по литературным вопросам, он, кажется, никогда не высказал. Европейскую поэзию, как это видно по упоминаниям, намекам, переводам, знал он хорошо, но то была духовная пища, издавна усвоенная его гением, а не предмет его размышлений, и даже не то, чем заполнял он свой досуг. В 1847 году, во Франкфурте, Жуковский

читал ему свой перевод «Одиссеи», и он писал жене, что при этом случае ему была возвращена «давно дремавшая способность искренно и полностью отдаваться чисто литературному наслаждению». Двенадцать лет спустя он жалуется ей же на Москву, «город архилитературный, где вся эта пишущая и читающая братия слишком уж принимает себя всерьез», так что очередное заседание Общества Любителей Русской Словесности кажется важней, чем «грозные события, готовящиеся на Западе».

Для Тютчева события, почти всегда грозные на его взгляд и угрожающие Западу, едва ли не больше, чем России, были тем, что всю жизнь заставляло работать его ум с наибольшим напряжением и страстностью. Деревенской жизни бежал он именно потому, что не мог обойтись без новостей, газетных депеш, без политических толков, слухов и предсказаний. В переписке с женой политика господствует над всем, даже над светской жизнью, ревматизмом и дурной погодой. Восемнадцатилетний студент уже увлечен «восточным вопросом», и Погодин записывает в свой дневник его суждения о греческом восстании и судьбе Турции: «Целый народ выгнать трудно. Проезд целого народа через Мраморный пролив будет занимателен». А старик, разбитый параличом, незадолго до смерти, еще «жаждет, — по словам Аксакова, — говорить о политике и общих вопросах», опять-таки политических, диктует на эти темы глубокомысленные письма своим

заграничным корреспондентам и даже свою болезнь называет, как не всякому придет в голову — «мой Седан». Годы, проведенные на дипломатической службе, уже потому даром не могли пройти, что, повидимому, отвечали исконному его призванию. Политика, увлекающая Тютчева — внешняя политика; вопросы, интересующие его — международные вопросы. Он и Россию, поскольку созерцает её разумом, видит, прежде всего, как государство, а в государстве этом самое важное для него не внутреннее устройство, а внешнее могущество и влияние. Патриотизм его, из чувства превращаясь в мысль, Россию мыслит не иначе, как мощным рычагом европейской и мировой политики. Этим и определяется его отличие, в исходной точке более, чем в выводах, от ближайших единомышленников его, славянофилов.

«Милый, умный, как день умный, Федор Иванович» (так поминал его Фет) со славянофилами дружил, выдал за одного из них старшую дочь, но недаром, должно быть, голова Аксакова под венцом показалась ему похожей на «деревянную раскрашенную куклу, изображающую Карла Великого»: зятя он ценил и тот почитал тестя, но в биографии, памятнике их духовной связи, «бесценнейший Иван Сергеевич», всё же довольно заметно упростил и личность её героя, и его мысль. Уже за семь лет до этой свадьбы, в 1858 году, Тютчев, в письме к жене, сетовал на многословие и вечные повторения своих соратников, соб-

равшихся у Хомякова, а в 1870 году ей же писал о некоем «славянском обеде», на который не пошел, «дабы не подвергаться скуке слушать бесполезное и даже смешное пережевывание общих мест, тем более мне опротивевших, что я и сам отчасти в них повинен». Он прибавляет, что люди и вообще нередко делают для него неприемлемыми его собственные мнения, и что он особенно ценит тех, кто, как Самарин, такого впечатления на него не производит. Конечно, в суждениях этого рода многое проистекает из простого раздражения, которому подвержен всякий мыслящий человек, убедившийся в том, что и так называемые единомышленники его не застрахованы от недомыслия. Однако в расхождении Тютчева со славянофилами, более существенном, быть может, чем казалось обеим сторонам, было и нечто другое, нечто, в силу чего славянофилы должны были являться Тютчеву в образе несколько провинциальном, а сам он представляться им слишком уж петербургско-царскосельским человеком, и даже попросту человеком западным.

В 1830 году Иван Киреевский писал о нем из Мюнхена домой: «Он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам». Сходные отзывы повторялись не раз, и, конечно, Тютчев был европейцем не только в том смысле, в каком это можно сказать (и потому неинтересно говорить) о любом русском образованном человеке нового времени. Во

всем, что касается мысли, он был европейцем, не только сквозь Россию, но и непосредственно, и как бы от России независимо. Он не только усвоил европейскую культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т. е. исходя из целого Европы, просто потому, что иначе мыслить не умел, и Россия была для него хоть и восточной Европой, а Европой. Настоящий Восток был ему чужд, и ничего азиатского он в русском не искал. Еще за два месяца до смерти он писал в Париж княгине Трубецкой: «Мы тут заняты чествованием шаха персидского. Что до меня, то все эти полуварварские восточные люди не внушают мне ничего, кроме ужаса и отвращения». Другой культуры, кроме европейской он не знает. «Большое неудобство нашего положения, — пишет он Вяземскому, — заключается в необходимости для нас называть именем Европы то, что следовало бы называть не иначе, как его настоящим именем: цивилизация». Это значит, что Тютчев не одобряет русского нарочитого европеизма, т. е. рабского подражания Западу, но это значит также, что двух цивилизаций, двух культур, русской и западной, для него нет, а есть лишь одна, европейская, одинаково принадлежащая Западу и России. Судьба этой общеевропейской цивилизации и есть то, что волнует его всю жизнь; заботами о ней вызваны самые глубокие и пророческие его мысли, вроде той, что была им высказана жене во время франко-прусской войны, о нелепости, моральной невозможности войны «en pleine civilisation». «Это

— как бы публичный опыт людоедства. Самая правильность, вводимая цивилизацией во все эти избиения и грабежи, делает их еще более омерзительными».

Достойно внимания, что все три тютчевских статьи по внешнеполитическим вопросам написаны не столько с точки зрения русских интересов, сколько с точки зрения интересов европейских; и то же, вероятно, можно было бы сказать о его книге «Россия и Запад», если бы он удосужился её написать. Письмо, адресованное в 1844 году редактору Gazette Universelle d'Augsbourg всецело посвящено немецким делам и рекомендует германским государствам такую политику, которая, прежде всего, должна пойти на пользу им самим. Докладная записка о «России и Революции» тоже имеет в виду, прежде всего Германию, которую Россия призвана защитить от наступающих на нее из Франции революционных идей, а может быть и войск. Наконец, статья «Римский вопрос», напечатанная в Revue des Deux Mondes вдохновлена тревогой за судьбу католичества и убеждением, что его спасет лишь воссоединение церквей и проистекающий из него союз с несокрушимым православным царством. Правда, все эти статьи, наброски к ненаписанной книге, как и политические взгляды Тютчева вообще, покоятся на вере в провиденциальное призвание России и в великое будущее российской империи; однако, характерно для него, что и будущее, и призвание это всё как-то созерцает он из милого Мюнхена или с не менее лю-

безных его сердцу берегов женевского озера, хотя бы в ту минуту и беседовал он с Хомяковым и Аксаковым в Москве или глядел на Невский проспект из окон своей квартиры в доме армянской церкви. Можно почти сказать, что Россия нужна ему только для Европы, и во всяком случае взгляды его не питаются, как у славянофилов, никаким предпочтением, которое он отдавал бы русской культуре перед европейской. Он не собирается Европу, хотя бы и гибнущую, приносить в жертву России; он только полагает, что Европа погибнет, если Россия не спасет её от гибели.

Нет сомнения: Тютчев был горячим русским патриотом, негодовал на политику Нессельроде, ведшего Россию на поводу австрийских интересов, скорбел об исходе крымской кампании, не всегда бывал доволен Горчаковым, желал усмирения поляков, и вообще требовал твердости, воспевал мощь, молился об одолении супостатов. Однако, поскольку речь идет об идейных, а не стихийных источниках его патриотизма, можно сказать, что источники эти были универсальными, а не национальными. Заветнейшая мечта его, «Великая Греко-Российская Восточная Империя», была мечтой о новой Европе, о вселенском утверждении обновленной христианской культуры, а не о воскрешении московского царства и не о торжестве специфически русских начал. Уже в стихах «На взятие Варшавы» он оправдывал покорение Польши не необходимостью, не выгодой, не славой, а этим универсальным замыслом,

этой «всемирною судьбой России», как он скажет двадцать лет спустя. В порядке возможного нового «нашествия двунадесяти язык» он готов противополагать Россию Западу, но не придавая этому смысл окончательной и непреложной розни, и не гибели Запада желая, а его спасения. Россию же видит он при этом не в её реальности, не в настоящем, а в чаемом и возможном будущем. Если вера в это будущее пошатнется, самый образ России заколеблется в его душе. Недаром в едва ли не лучшем из своих политических стихотворений, по случайному поводу, но, быть может, не только в связи с ним, он спрашивает себя:

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?

Одержимость политикой, не Тютчева, но тютчевского ума, нередко приводила к суждениям опрометчивым и поспешным по поводу событий не столь уж значительных и оцениваемых односторонне, с точки зрения одних лишь междугосударственных отношений. В предвидении ближайшего будущего, он часто

ошибался, считал, например, в 1870 году, что Франция неминуемо раздавит Германию, хотя будущее более отдаленное угадывать умел, и в бисмарковском «культуркампфе» (как он о том писал в предсмертном письме барону Пфеффелю) узнал всё то, что пол века спустя составило идею тоталитарного государства. Россию он видел в грандиозной — и совершенно верной — всемирно-исторической перспективе, однако, несколько отвлеченной и внешней, в силу самой этой грандиозности. Посещение Москвы и Кремля, после двадцатилетнего пребывания за границей, дало ему образ византийско-русского мира, более древнего в его истоках, чем самый Рим, и к этому чувству прошлого неизбежно присоединилось, говорит он, «предчувствие неизмеримого будущего». Рядом с таким взглядом, обычные славянофильские — мельче, но теплей. Завороженность будущим, вырастающим из самой глубины прошлого, приводит к ослаблению чувства конкретной русской истории, которая Тютчева, повидимому, не очень интересовала, и даже конкретной русской действительности, в которой он слишком склонен был видеть лишь самое близкое — политические интриги — или самое общее: российскую державу в её отношениях с другими политическими силами. Оттого-то политические стихи его и слабей других, что их питают сравнительно поверхностные чувства и мысли, тогда как всё то сложное, что скрыто под этой наружной пеленой, не получает в них почти никакого выражения. Если же пелену приподнять,

сразу открывается совсем иной образ России, который в Тютчеве жил, хоть он вовсе и не был ему рад, и в котором нет ничего общего с тем, что лег в основу его политической мысли и политической поэзии. Или, если общее есть, то разве лишь то, о чем говорит замечательная формула, найденная однажды в Варшаве пятидесятилетним поэтом, из очередной заграничной поездки возвращавшимся на родину: «грязь милого отечества, полная будущим», cette saleté pleine d'avenir de la chère patrie.

II

Часто в стихах и чаще еще в письмах встречается у Тютчева эта тема, возвращение домой, и каждый раз чувствуешь: как тягостен возврат, как грустно расставаться с тем, что осталось позади, как трудно дается ему Россия. В 1839 году он пишет родителям из Мюнхена: «Я устал от этого существования вне родины, и время подумать о пристанище в старости, которая уже подходит», а пять лет спустя, из Петербурга, он жалуется им же, что отвык от русской зимы, которой не испытывал девятнадцать лет. И не только от зимы он отвык, но и от осени и весны, от петербургской оттепели, от ранних сентябрьских холодов, от всей русской погоды, — что значило не мало для человека, у которого от перемен погоды менялся и весь строй души[2]. В письмах к жене с поразительным посто-

---

[2] Другой поэт, англичанин, человек строгий к себе и к другим, находил, что «говорить о погоде или здоровьи, и особенно жаловаться на них, никчемное дело», (письмо Хопкинса Роберту Бриджесу 7 марта 1884 года).

янством повторяются жалобы и восторги по поводу солнца и дождя. В Петербурге, на Островах, лето 52 года прошло недурно, однако, погода испортилась в первых числах сентября, и этого было достаточно, пишет он, чтобы «окраска моих мыслей перешла из нежно-серой в решительно-черную». Август 54 года кроме эпистолярных восторгов, породил и стихотворение «Какое лето, что за лето», а когда 24-го числа сильный ветер положил конец очарованью, Эрнестина Федоровна получила приличное случаю торжественно-грустное поминальное письмо. Славословий зиме Тютчев не слагал, она и вообще редко появляется в его стихах, и чтобы метель, пороша или рифмующие с морозом «девичьи лица ярче роз» его пленяли, что-то не слышно. Любил он только хорошо прогретое лето и теплое начало осени. Июльскими днями 56 года, проведенными в Петергофе, он остался настолько доволен, что назвал их сверхестественными для тех широт; зато холодный июнь два года спустя заставляет его лишний раз воскликнуть: «Ах, что за страна!» («Ah! quel chien de pays!»): лучшего от России ожидать трудно. Ведь и в тех августовских стихах говорится:

Гляжу тревожными глазами
На этот блеск, на этот свет...
Не издеваются ль над нами?
Откуда нам такой привет?

Настоящая ласка, настоящее тепло — только там, «на золотом, на светлом юге». Поэт только и мечтает о том, чтоб

Сновиденьем безобразным
Скрылся север роковой;

о том, чтоб

мимолетный дух,
Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее
Туда, туда, на теплый юг.

Конечно, если бы всё ограничивалось нелюбовью Тютчева к суровой русской зиме или пасмурному небу Петербурга, об этом не стоило бы говорить; но немил его сердцу был и русский пейзаж, не была согласна его душа и с особым обликом русской природы. Он любил теплое море, горы, снеговые вершины, отраженные в синем зеркале озер, пейзажи Ривьеры, Швейцарии, южной Германии. Отрадно ему было, подняв глаза, созерцать

на краю вершины
Круглообразный, светлый храм

или те «недоступные громады», где прозревал он ангельские образы. Увиденный под конец жизни Киев воскресил в нем нерусские впечатления ранних лет и возвратил его поэзии давно породнившийся с ней мотив:

Там, где на высоте обрыва
Воздушный, светозарный храм

Уходит выспрь — очам на диво —
Как бы парящий к небесам;

но равнинная, растекшаяся вдаль, бескрайная Россия пугала его воображение, и не Волга была ему родной рекою, а скорей уж Рейн или Дунай. В 43 году, оставив жену в Мюнхене, едет он в Россию, чтобы подготовить к следующему году свой окончательный переезд туда со всей семьей. За Варшавой, пишет он, «расстилается грозная скифская равнина, столь пугавшая тебя на моей рельефной карте, где она образует такое огромное пятно. В действительности она нисколько не более приятна». Через четыре года, вернувшись на лето заграницу, с каким восторгом описывает он вновь посещенные берега Рейна, баденский и гейдельбергский замки, Цюрих, Базель, прогулку в окрестностях Вильдбада, побудившую его благодарить Бога, за то, что на свете есть еще горы, столь утешительные, когда смотришь на них «после долгих трех лет проведенных среди равнин и болот»; что и говорить: «ma fibre occidentale a été grandement remuée tout ce temps-ci» (западный нерв моей души был всё это время очень растроган). И вновь, шесть лет спустя, вернувшись из очередной заграничной поездки, жалуется он на грустную страну, где нечем заменить горы, кроме облаков, и спрашивает себя, как это «великий поэт, создавший Риги и женевское озеро, мог подписать своим именем подобные плоскости», de pareilles platitudes.

«Чего бы я не дал теперь, чтобы была тут предо мною настоящая что ни на есть гора!» Этот стон проходит через всю его жизнь. В те же времена Некрасов ездил заграницу и, воротясь, написал (в 57 году) «Тишину»:

Всё рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!

Но Тютчева простор не врачевал. Однажды он писал из Берлина, перед тем, как пуститься в обратный путь: «Наконец, наконец, остается сделать последний шаг, и не далее, как сегодня вечером, я окунусь, — не в вечность, как повешенный в Англии, а в бесконечность, как путешественник в России». В тот год (59-ый) ему особенно не хотелось ехать домой (хотя совершенно сходные жалобы повторяются и позже, например в 62 году); еще из Веве он писал Эрнестине Федоровне в Париж: «Я разделяю вполне не только твое сожаление покинуть Париж, но и твой ужас при мысли о возвращении. Сегодня мы совершили прогулку в замок Отвиль (...) Что за воздух, что за освещение, какие виды. И, глядя на это озеро и горы, в светящейся дымке, казалось, грезившие наяву, я вдруг вспомнил, что меньше, чем через шесть недель, я снова буду видеть перед собой Гостиный двор, печально освещенный с четырех часов дня фонарями Невского проспекта, и содрогнулся». В ту осень дорога из Кенигс-

берга в Петербург внушила Тютчеву еще более грустные стихи, чем те, что были написаны почти за тридцать лет до того («Через Ливонские я проезжал поля»), но основное переживание осталось тем же. И, конечно, это не случайное впечатление вылилось в них, а всегдашнее чувство родной страны:

Родной ландшафт... Под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой —
Синеет даль — с её угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой...

Случай не родит таких стихов, как эти:

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и покорясь судьбе,
В каком-то забытье изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.

Тут, конечно, не одна словесная живопись; да и не один «ландшафт» делал тягостным для Тютчева возвращение домой, и не одним зрением, не одними внешними чувствами воспринимал он образ своей России. Русский постоялый двор он однажды назвал «la plus triste des choses dégoutantes», но, конечно, и не отсутствие дорожных или иных удобств, настраивали его на хмурый лад, хоть он и говорит о поэзии комфорта, еще неизвестной России, в том самом сентябрьском письме 53 года, где он прощается в Варшаве с «гнилым Западом, столь опрятным и удобным,

pour rentrer dans cette saleté pleine d'avenir de la chère patrie». Из других писем и устных высказываний Тютчева явствует, что «saleté» тут можно понимать не только в прямом, но до некоторой степени и в переносном смысле. Через всю жизнь пронес он нерадующее чувство нецивилизованности, неотесанности, а то и прямого варварства России. Летом 1825 года, когда начинающий дипломат впервые вернулся домой после двухлетнего пребывания заграницей, Погодин записывает в дневнике: «Остро сравнивал Тютчев наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением». А также: «Говорил с Тютчевым об иностранной литературе, о политике, об образе жизни тамошнем. Мечет словами, хоть и видно, что там не слишком занимался делом. Он пахнет Двором. Отпустил мне много острот. «В России канцелярия и казармы. Всё движется около кнута и чина». Из этих слов не следует делать поспешных выводов о политически «левых» настроениях, позже, будто бы, сменившихся другими. Что самовластье, по мнению Тютчева, может развращать, видно из его стихов, посвященных декабристам; однако, он и позже проводит различие между самодержавием и абсолютизмом (т. е. именно самовластьем), не переставая в то же время быть верным слугой российского самодержца и вообще — «пахнуть Двором». Критика его, от которой он не отказывался всю жизнь, шла почти исключительно по двум путям: либо касалась внешней политики (тут он бывал крайне резок, например, в

осуждении всей внешнеполитической системы николаевского царствования), либо вдохновлялась уже не столько политическими идеями, сколько прямыми интересами культуры, а в этой области и стиралась всего легче грань между пороками власти и свойствами русской жизни вообще.

«Кнут и чин» были и остались ненавистны Тютчеву, прежде всего тем, что с их помощью происходило подавление духовной свободы, то, что, в одном из горьких писем, вызванных крымской войной, он назвал «раздавливанием разума», «écrasement de l'intelligence». В том письме, написанном в особенно мрачную минуту, он говорит, что подавление это систематически проводилось правительством за последние годы и привело к результатам всеобъемлющим: «Всё подверглось подавлению, всё кретинизировалось». Последнее выражение характерно: многое в России казалось Тютчеву именно глупым, то невинно-глупым, а то и преступно-глупым, и тогда ведущим к гибели. В те же критические годы он пишет жене, что управление делами «принадлежит мысли, которая сама себя не понимает»; «чувство такое, как будто находишься внутри кареты, катящейся вниз по всё более крутому склону, и вдруг замечаешь, что на козлах нет кучера». С порабощением мысли он боролся по мере сил при Александре II-ом, заседая в Комитете иностранной цензуры, но конечно, и многое другое, темное, видел он кругом, что казалось ему неотъемлемым и непрео-

боримым. Любопытно, что в письме, появившемся в 1844 году в аугсбургской газете, он не оспаривает по существу того, что говорят за границей о «несовершенствах нашего общественного строя, пороках нашей администрации, положении наших низших классов», а лишь ссылается на пример ирландских крестьян и манчестерских фабричных рабочих, которым живется еще хуже, чем даже русским, сосланным в Сибирь. Международная роль России, в настоящем, и особенно в будущем, перевешивает в его глазах всю неурядицу её внутреннего строя; перед иностранцем он её защищает, не отделяя грехов власти от грехов страны; но в собственном своем сознании, продолжая их видеть слитно, он всё же их видит, эти общие, русские грехи, и от них во всю жизнь не перестает его коробить.

Коробит его от многого в нравах, в манерах, во всем пошибе русского знатного и образованного общества. По поводу роскошного приема у Кушелевых он пишет однажды: «Есть некий хамский стиль, — style canaille, — очень эффектный на золотом фоне». От впечатлений такого рода, отнюдь не единичных, он ищет утешения в мысли о некоторой первобытности русского общества и, значит, девственности, невинности самых его пороков. В 53 году в Петербург приезжала Рашель, и Тютчев не удивляется, что ей понравилось в Петербурге. «Я понимаю, — пишет он, — что для натуры, всё испробовавшей, всё исчерпавшей, бы-

ла отдохновительна эта простодушная среда, столь мало тронутая разложением, столь несложная в своей испорченности. Это входит в её курс лечения ослиным молоком». Но в то же время, по сравнению с безукоризненно воспитанным западным человеком, это же общество кажется ему нестерпимо неотесанным и простоватым. На празднествах коронации, в Москве, повстречал он у Бахметьевых молодого лорда Актона, и встреча, как он говорит, навела на него глубокую меланхолию «настолько я был потрясен контрастом между естественным аристократизмом этого молодого человека и столь же естественной вульгарностью всего, что его окружало». Тот, кто знает, что значила для Тютчева «светская жизнь», т. е. хорошо отстоявшиеся формы цивилизованного общения между людьми, поймет, почему вечер у Бахметьевых, да еще мюнхенские воспоминания, всплывшие на нем, привели к очередному припадку той болезни, которую так часто вызывали у него люди, природа, погода его страны: тоски по чужбине, или как он сам выразился в этом случае «nostalgie en sens contraire».

III

Тоска по чужбине — таков итог отношения Тютчева к России, открывающегося под наружным пластом политических убеждений и надежд и отвечающего непосредственным его чувствам, а не каким-нибудь отвлеченным построениям. После его смерти, кн. И. С. Гагарин вспоминал его слова: «Je n'ai pas le Heimweh, mais le Herausweh». Эти настроения не были случайны, они возвращались к нему постоянно, были спутниками всей второй половины его жизни, после возвращения на родину. Когда семья заграницей, основной мотив его писем — «зачем я не с вами», но когда он сам заграницей, а семья в Овстуге или в Петербурге, он соболезнует Эрнестине Федоровне, но не торопится возвращаться к ней. В 58 году он заграницу не уехал и осенью пишет об А. О. Смирновой, что она «еще раз отложила свой возврат в милое отечество и что он, разумеется, далек от того, чтобы её за это порицать». Несколько позже, в ту

осень, он возвращается к той же теме: «Возвращающиеся из заграницы столь же редки и столь же нереальны, как выходцы с того света, и право, трудно упрекать тех, что не возвращаются, настолько хотелось бы быть в их числе». В следующем году он ездил в Германию и Швейцарию, в 60-ом тоже, в 61-ом оставался в России, в 62-м «Herausweh» было особенно сильным, как видно по одному красноречивому письму, и он вырвался вновь в Висбаден и к берегам женевского озера... Так проходила жизнь. Издали тревожила и манила старая Европа, её духовный уют, её согретая историей природа, поросшие мохом камни и виноградники на солнечном склоне гор, а в «милом отечестве» было бесприютно и не по себе, и самую страшную душевную боль не подумал он развеять в русских степях, а повез утопить в Средиземном море:

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сияньи,
Весь, как во сне, я потерян стою —
О как охотно бы в их обаяньи
Всю потопил бы я душу свою...

Что ж, надо ли согласиться с Тургеневым, писавшим Фету из Буживаля 21 августа 1873 года: «Глубоко

жалею о Тютчеве; он был славянофил, но не в своих стихах, а те стихи, в которых он был им, те-то и скверны. Самая сущная его суть — le fin du fin — это западная, сродни Гёте»? Нет, согласиться нельзя. Западническое мнение это тоже упрощает дело, хоть и не столь грубо, как упрощало бы мнение противуположное, т. е. такое, по которому славянофильством Тютчева исчерпывалось бы его отношение к России. Совершенно верно, что в политических стихах дана лишь внешняя пелена этого отношения и что в них не высказалась «самая сущная суть» поэта. Однако и тяга на Запад, быть может не самое глубокое, что в нем было, и уж во всяком случае человеческая и стихотворная суть его стихов, хотя бы только что приведенных стихов, написанных в Ницце, не французская, не немецкая, а чисто русская. Если хваля звуковую изобразительность стихов Вяземского о Венеции, Тютчев сказал: «Что за язык этот русский язык!», то разве каждый не говорил себе того же, читая тютчевские стихи, только не политические, а другие? Конечно и Даль, и Гильфердинг выучились писать по-русски, но тютчевская степень слияния со стихией русского языка могла быть дана только глубоко русскому человеку, русскому, быть может, не в привычках и вкусах, не в устройстве ума, но в самой сокровенной сердцевине своей личности. Тютчев был предан российской империи, но душою дружил с Мюнхеном и «зеркалом Лемана»; однако сильней этой преданности и этой дружбы была та незримая Россия, что жила не

во вне, а в нем самом. Два раза был он женат на немках, но «последняя любовь» его — русская любовь. Французские письма его написаны прекрасно, с очень немногими отступлениями от правил чужого языка и в полном соответствии с тем, что хочется назвать не его духом, а его умом; но французские его стихи всё же оказываются чересчур русскими по своему ритму, звуку, по самому чувству, которое хочет выразиться в них. Языковед и историк литературы Фосслер рассказал в одной из своих работ о немке, прожившей жизнь вдалеке от родины и разучившейся говорить по-немецки, вплоть до последней мучительной болезни, когда, для нее самой нежданно, язык её детства стал языком её предсмертных жалоб и молитв. Так и Тютчев: по-французски он размышляет и острит, по-французски ведет письменную и устную беседу с друзьями, но только в русских стихах изливает душу, потому что душа эта — русская душа.

О том, что не так просто, как думал Тургенев, обстояло дело с тютчевским «le fin du fin» говорит уже то смущение, которое испытывает он, когда вспоминает о своей «fibre occidentale», о неспособности чувствовать себя в России, как в своей естественной среде и быть в самом деле, «как дома», когда он дома. Извиняет он себя тем, что не в России провел лучшие годы, что не с ней связаны первые радости, печали и утраты; но извинение не утешенье, и рана остается незалеченной всю жизнь. В августе 1846 года, на пути

в Овстуг, он писал жене из Москвы: «Я еще не знаю, какое впечатление произведет на меня место моего рожденья, покинутое 28 лет тому назад, и по котором я так мало тосковал. Боюсь, что из меланхолических чувств я найду там одну скуку. Ведь ни одно из моих живых воспоминаний не восходит к тому времени, когда я там был последний раз. Моя жизнь началась позже, и всё, что предшествовало её началу, мне столь же чуждо, как канун моего рождения». Встреча с родными местами и в самом деле была безрадостной, — как, повидимому, и встреча с матерью в Москве, за три года до того. В сентябре Эрнестина Федоровна получила длинное, грустное, несколько растерянное письмо и при нем стихи, кончавшиеся так:

Ах нет! Не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем,
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной!
Ах, и не в эту землю я сложил
То, чем я жил и чем я дорожил!

Сказанное об Овстуге могло быть сказано и о России. Невеселое письмо, невеселые стихи в сущности относятся и к ней. Тут один из источников той грусти, что, начиная с этого времени, постоянно сквозит в насмешливом (по отношению к самому себе) тоне его писем и заглушается (быть может, по инстинктивной потребности его натуры) славянофиль-

ской риторикой в патриотических стихах. Не мало должен был он думать о своей особой судьбе, чтобы однажды — в письме из Веймара от 20 октября 1859 года — найти для нее такую острую формулу: «Что бы ни говорили, но единство места — одно из трех единств старой, подвергавшейся стольким нападкам, классической драмы — более необходимо, чем думают, для того, чтобы пьеса нас могла интересовать, по крайней мере в действительной жизни».

Поэзия строится из противоречий; личность может от них погибнуть, но и на высшую ступень своего единства она не взойдет, если их нет. Тютчев жил в мучительной раздвоенности, но в глубине её он был един, а мукой и борьбой питался его гений. На поверхности был образ Российской державы, с её победами, знаменами и врагами, а поглубже — «la saleté pleine d'avenir de la chère patrie», но совсем глубоко было другое, другая Россия, хоть лишь изредка выступали на поверхность её не умом, а чутьем угаданные черты. Однажды, после осенней прогулки на Островах (в 68 году) он писал жене: «На меня навел меланхолию вид бедных деревьев с опадающей листвой. Они были похожи на чахоточных». И еще за пятнадцать лет до того петербургская осень внушила ему, в письме, где особо подчеркнута его тоска по горным пейзажам Запада, такую фразу: «За отсутствием альпийских великолепий, мы имели здесь, благодаря нескольким ясным осенним дням, чудесную игру свето-

вых бликов на водах Невы, таких прозрачных и таких покорных, и на купах пестрой листвы, которая скоро исчезнет». Эти бедные, чахоточные деревья, эти покорные воды (французское выражение, les eaux résignées, непереводимо, оно свидетельствует о несравненной прозорливости) как бы содержат в зародыше тот образ России, что был запечатлен 13 августа 1855 года в знаменитом стихотворении, где и в самом деле всё угадано и понято, что «тайно светит» в её убожестве, скудости, в её смиренной наготе. Образ этот сроднился с тютчевской душой как-то исподволь, должно быть, и для него самого незаметно, не отменяя других, более скептических или более победных, более тревожных или более праздничных. Присутствие его чувствуется уже в стихах, внушенных остановкой в Ковно за два года до того (в том же году, когда было написано письмо о бедных и чахоточных деревьях). Стихи эти лишь на поверхности, голым своим сюжетом — победой России над наполеоновскими войсками — напоминают бравурно-патриотические его произведения (которые, впрочем, продолжал он писать и после того) по существу же тот Другой, что стоит на страже России, отнюдь не символ, хотя бы и религиозный, материального её могущества, а уже тот небесный Царь, что два года спустя явился поэту «в рабском виде» и удрученный тяжестью креста.

О той России, что открылась ему в наибольшей глубине его духовного опыта, он сказал всего меньше,

потому что о самом сокровенном вообще говорить не любил. Передают, что он каждый раз болезненно сжимался, когда речь заходила о его стихах, так что под конец с ним вообще никто не решался говорить на эту тему. Однажды (по Аксакову) «в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, весь промокший он сказал встретившей его дочери: «j'ai fait quelques rimes»; то были «Слезы людские, о слезы людские»... И подобно тому как с той же крайней скромностью и почти извинением говорил он всегда о своих стихах, так и Россию предпочитал публично превозносить и частным образом поругивать, а самое тайное, что о ней знал, во всей полноте только раз и как-то само собой у него сказалось, — больше он к этому не возвращался, даже и в стихах продолжал молчать. Впрочем, говорить, рассказывать, расписывать было и не нужно: достаточно было оставаться тем поэтом, каким он всегда был. Стихи и тайное ведение России несказанным образом были в нем одно. И в сущности всё, что он думал о ней, вся гордость, и тревога, и печаль, всё это было ничто рядом с тем, как она дышала в дыхании его стиха, как жила и живет до сих пор в жизни его слова.



ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА

«Зияли триумфальные арки, как мосты, разоренные слишком тяжкой проездною пошлиной. Бездомные псы поднимали ногу на коринфские колонны. Пулеметы изрезали аканфы белыми звездами. Посиневшие от холода прохожие — молчаливые призраки, обутые в галоши — казались под щиплющим снегом такими же оштукатуренными, как стены мокрых домов, с которых в вышину человеческого роста облезла краска. Из труб, вместо дыма, поднималась одна лишь черная бумага сожженных писем; заделанные ржавым железом двери отворялись неохотно, а по вечерам не отворялись совсем; разговоры можно было вести только за семью замками у себя дома или в тюремной камере. Под низким небом, конные статуи, позеленевшие, как стильтонский сыр, скакали по линии горизонта и не могли её перескочить».

Таким увидел Петербург французский писатель, проездом заглянувший туда лет через пять после «Октября». Он говорит о невымытых стеклах «окна в

Европу», о прекраснейшем, быть может, из европейских городов, уподобляемом ныне Венеции, Равенне; или Пэстуму, с которым сравнил его Уэлльс. Впечатления обветшалого величия, которые вынес Поль Моран из разоренной и заброшенной столицы, возникали в те годы у всех посетителей её; о них же, хоть и не столь цветистым языком, повествует немец Блумберг, посетивший её немного позже. «Северная Пальмира» показалась ему стареющей прелестницей, облеченной в неопрятное «неглиже». Даже на Невском заметил он немало домов с окнами без стекол, сквозь которые виднелись полусорванные обои и зияющие отверстия дверей. Снятые с петель двери пошли на топливо. Многие крыши провалились. Одни дома сохранили только фасад, скрывавший уже давние развалины; другие стали необитаемы вследствие порчи печей и водопровода; третьи с трудом удалось привести в жилой, но неприглядный вид. Зимний дворец, облезлый и дряхлый, увидел он похожим на пришедший в упадок усадебный дом какого-нибудь разорившегося помещика. И только Исаакиевский собор показался ему непоколебимым, не боящимся невзгод в гранитной своей одежде, с высоким порталом, где еще сияли золотые буквы: «Господи, волею Твоею да возвеличится царь».

Когда Федотову, разбитую параличом, везли, уже при новых господах, по московским улицам, мимо Малого театра, она заплакала и сказала: «Милый, ка-

кой ты стал грязный, какой скверный». Так и мы скажем еще и сейчас, если доведется нам увидеть Петербург, хоть его должно быть и поштукатурили с тех пор, починили, вычистили... Не в одной штукатурке дело.

На конверте с заграничной маркой мы ставим глупые четыре буквы и партийную кличку ставшего безымянным города. Мы адресуем письмо куда-нибудь на проспект Володарского или на Вторую улицу Деревенской Бедноты и с трудом представляем себе, что почтальон понесет его вдоль портиков Адмиралтейства, вдоль обгорелых стен Окружного суда, мимо деревянного домика Петра Великого. Разве не призрачными стали — даже не для нас, а именно для оставшихся там — Петропавловская крепость, Растреллиево чудо в Смольном, Академия, Биржа, Инженерный замок, Александринский театр? Будущий Петербург будет лишь тенью нашего. Трагический облик его, в первые годы революции, — окровавленный, голодный и порфироносный, — понемногу сменяется другим, более обыденным, более житейским, таким, что лишь неистребленная его архитектура и неистребимое дерзновение его замысла мешают ему стать, похожим на все другие, обесцвеченным, захолустно-индустриальным, безнадежно-современным городом. Судьба Петербурга и петербургской России предчувствовалась давно; на наших глазах она свершилась.

«Петербургу быть пусту». Пророчества иногда сбываются. Их было много — от самых давних, приписываемых тому времени, когда еще только закладывался город, до полупредвидений, полупроклятий Зинаиды Гиппиус в 1909 году:

Нет, ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг,
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк.

Камень, правда, не изъеден, но ведь и в стихах не о камне идет речь и, если взять их основной смысл, они — конечный вывод из разраставшейся от поколения к поколению тревоги, из непрерывно углублявшегося сомнения. Возрастание это началось, однако, не сразу; пророчества и предчувствия сперва продремали под спудом добрый век. О них почти не помнили

при Екатерине, при Александре I-ом. Казалось, что новой столице скоро суждено врасти в чуждую её замыслу страну, что рана, нанесенная разрывом с прошлым, уже зарубцевалась. Залогом новой жизни казалась самая память о венчанном бунтаре, память, не в пример мавзолею на Красной площади, приуроченная к жилищу, а не к могиле. О домике на Петербургской стороне прусский генерал Фридрих фон Гагерн заметил в 1839 году: «Ему придали вид часовни, в которой великому человеку поклоняются, как святому», а три года спустя Герцен писал: «В Петербурге одни и есть мощи — это домик Петра». Характерно, впрочем, что Герцен ошибался: он забыл о Лавре, где в огромной, неимоверной тяжести раке из литого серебра хранились мощи Александра Невского. К сороковым годам этот символ восстановленной преемственности между старой и новой Россией уже померк и никто не предвидел, что через сто лет разрушители и наследники петербургской России попытаются вновь его использовать. Было время, однако, когда он ощущался живым, и недаром именно в своих «Стихирах св. Александру Невскому» Сумароков с такой ничем не омраченною надеждой призывал:

Ликуйте вы, Петровы стены,
Играйте, Невски берега!

Другой, более прославленный призыв, «Красуйся, град Петров...», звучит уже не так, не столь безоблачно: торжественней, но и тревожней. Пушкин в 1833 году

более, чем когда-либо, приемлет Петра и утверждает Петербург, но и ясней чем прежде, видит, что их судьба еще не решена, что борьба еще не кончена. Призыв похож на заклинанье, рожденное ощущением опасности:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия, —

а что если не умирится? Да и вполне ли она побеждена? И ведь не об одной природной стихии, не об одних «финских волнах» идет речь. Правда Евгения не уничтожена, не превращена в ложь правдою Петра, его города, его России. В «Медном Всаднике», как это бывает лишь в величайших творениях искусства, совмещены два казалось бы исключающие друг друга переживания. В нем — восторг перед «державцем полумира», благословение его делу, страстная вера во власть государственной узды над хаосом бунта и наводнения; но в нем и другое:

Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом,

пустынный остров на взморье, «домишко ветхий», раздавленная человеческая жизнь. «Горделивый истукан», «кумир на бронзовом коне» вряд ли вполне равнозначен неотразимо живому, излучающему жизнь

Петру «Полтавы». «Стихия» покорена, побежден Евгений, но пророческим ужасом содрогается поэт при мысли о «силе черной», рвущейся истребить искусственный город, искусственную Россию Петра. Нет гимна Петербургу, который сравнился бы с «Медным Всадником», но потому, как раз, что он — трагический гимн, что не безмятежное превознесенье в нем дано, а впервые схвачена и навек запечатлена трагедия Петербурга, Петра, России.

Самое равновесие — т. е. художественное здоровье его — трагично, ибо основано на равноценности двух правд, из коих одна, ни в чем не изменяя себе, все же терзает и насилует другую. Бронзовый Петр и гранитный Петербург одновременно увидены тут в предельном великолепии своем и в роковой неразрывности с несправедливостью, страданием и смертью. Но созерцать трагедию не всякому дано, а непрерывно её переживать и вообще недоступно человеку. Неповторим был к тому же и тот исторический момент, когда еще с полным торжеством звучало «да», но и «нет» уже было произнесено, и когда явился Пушкину замысел его поэмы. За пять лет до того он и сам положил начало, не слиянию отрицания и утверждения, огня и льда, а более односторонне: холодку, сомнению, иронии.

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,

Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит;

стихи эти переходят в мадригал и до некоторой степени они случайны; думаю, однако, что они все же показательны. Через четыре года после них и за год до пушкинской поэмы, Хомяков уже писал в петербургский альбом С. Н. Карамзиной стихи, начинающиеся так:

Здесь, где гранитная пустыня
Гордится мертвой красотой...

и снабженные двумя вымышленными эпиграфами на английском языке и на французском: «Быть в Петербурге, имея душу и сердце, истинное одиночество» и «Я увидел город, где всё из камня: дома, деревья и горожане». В тот самый год, когда писался «Медный Всадник», Печерин работал над своей драматической поэмой «Торжество смерти», где некая неправедная столица погибает от наводнения, согласно никогда окончательно не исчезавшим поверьям о Петербурге. А два года спустя молодой балтийский немец Виктор Ген писал брату: «Ты спрашиваешь, как мне понравился Петербург? Холодное великолепие. Гигантские строения без души. В этом каменном городе нет живого, горячего кровообращения, как в Лондоне и Париже. Он построен в северной пустыне и, быть может, скоро будет похож на пустынные развалины Баальбека и Пальмиры. Петербург — искусственный город, возникший необычайно быстро, и когда российское го-

сударство распадется, он исчезнет с такой же быстротой»*.

Чувство Петербурга у русских и у иностранцев меняется одновременно. К концу тридцатых годов те и другие преимущественно воспринимают в нем чужеродность, каменность, холодность, — а также непрочность: ожидают его гибели. В знаменитом описании Жозефа де Мэстра, предпосланном первой беседе «Петербургских вечеров» и отнесенном автором к 1809 году, только и читаешь о великолепии города и величии его творца, о полноводной Неве, гранитных набережных, зеленых островах: «Всё что слышит ухо, всё что созерцает глаз на этой великолепной сцене, существует лишь мыслью того мощного ума, что воздвиг на болоте столько горделивых зданий. На этих печальных берегах, откуда природа изгнала жизнь, Петр расположил свою столицу и создал себе подданных». Кюстин через тридцать лет уже не верит в дело Петра и не слишком восторгается его городом. По его словам «никто не верит в будущее этой чудесной столицы», да и чудесна она для него только в самом буквальном смысле слова: он не находит ничего прекрасного в её роскоши, и классические формы её архитектуры кажутся ему неуместными на невских берегах. Произвол Петра по де Мэстру оправдан, по Кюстину он только и держится произволом его на-

---

* Th. Schiemann. Victor Hehn (1894), стр. 25.

следников. Он предвидит конец в духе старых пророчеств и в согласии с мнением Гена. «Пусть самодержец, — пишет он, — хоть на один день забудет свою столицу, лишенную корней и в истории, и в самой почве, на которой она стоит; пусть какой-либо новый политический расчет обратит взоры её властителя в другую сторону, и сразу же раскрошится покрытый водой гранит, наводненные земли вернутся в прежнее состояние и обитатели пустыни завладеют своим старым жилищем».

Если верить графу Соллогубу, Лермонтов любил «чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого поднималась оконечность Александровской колонны с венчающим её ангелом». Через год после смерти Лермонтова Герцен писал: «Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит». «В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное». Он — «блестящий, удивительный, один из самых красивых городов в мире», однако в нем есть официальность и мертвенность, которые Герцену невыносимы, и потому «любить Петербург нельзя», хоть он и чувствует (как западник), что «не стал бы жить ни в каком другом городе России». Петербург вбит сваями «не в русскую, а в финскую землю». «Петербург не разлил жизни

около себя; и не мог, наоборот, почерпнуть жизненных соков из соседства; и в этом опять его трагический характер». Для Герцена весь он «сжимается, лепится, сосредоточивается около Зимнего дворца», — в соответствии с фразой Гена из уже приводившегося письма: «Петербург ничто сам по себе, в силу своего местоположения, своей истории; он существует лишь в качестве резиденции российских императоров».

Петербург — основной символ императорской России; связь между знаком и тем, что он знаменует, не только не ослабела, но еще усилилась с годами; отсюда помертвение символа и приобретает всю свою значительность.

II

В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенева замечательно рассказано о переломе, произошедшем в середине тридцатых годов и окончательно определившемся к началу сороковых, о падении того, что он называет «ложно-величавой школой» с её риторикой государственной мощи в духе Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова и о наступлении новой эры, связанной прежде всего с именами Белинского и Гоголя. Самое интересное в этом рассказе то, что по Тургеневу дело тут отнюдь не ограничивалось Кукольником или Марлинским; он говорит без обиняков: «Медным Всадником» нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью». Свидетельство это не ложно: самый глубокий перелом во всей русской истории от Петра до Ленина совершился именно тогда, двумя датами, 1833 и 1842, можно обозначить его начало и конец, а так как с ним связана

судьба петербургской России, то и судьба Петербурга не может быть от него оторвана. На первый взгляд, Акакий Акакиевич от Евгения не так уж далек, хотя этот — захудалый дворянин, а тот — безродный разночинец, различие в историческом отношении немаловажное; однако они и вообще принадлежат к двум разным поэтическим мирам, к двум противуположным образам России. Пушкин смотрит на неё как бы с той гранитной глыбы, на которой воздвигнут фальконетовский Петр; Гоголь смотрит — или по крайней мере хочет смотреть — и на Россию и на Петра глазами ничтожного, потерянного, раздавленного человека. Когда читаешь:

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой...

не легко представляешь себе, что в том же городе, есть другая площадь где «какие-то люди с усами» снимают шинель с титулярного советника Башмачкина. Для Евгения Петербург еще имеет смысл — тот же, что для Петра, хоть и приносит ему гибель; для Акакия Акакиевича (и Гоголя) это всего лишь департамент, будочник, «значительное лицо», т. е. нечто, в чем вообще нет смысла.

С «Шинели» идет решительное развенчание Петербурга, которое затем ширится и углубляется из года в год. Предпочтение, отдаваемое славянофилами Москве, отнюдь не заставляет западников восторгать-

ся Петербургом. Формуле Гоголя (из «Петербургских записок» 1836 года) «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия» как будто противостоит формула Герцена «необходимость Петербурга и ненужность Москвы», но ведь Герцен в той же самой статье своей «Москва и Петербург», как мы уже видели, заявил, что любить необходимый этот город он не в силах. Не любил его и Тургенев, и в начале шестидесятых годов (в «Призраках») именно он, а не какой-нибудь фанатик «исконных начал» и Москвы, описал его так: «Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колонны; золотая шапка Исаакия; ненужная, пестрая биржа; гранитные стены крепости и взломанная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дровами; этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменелые дворники в тулупах у ворот, эти скорченные мертвым сном извозчики на продавленных дрожках, — да, это она, наша Северная Пальмира».

Независимо от западничества и славянофильства, Петербург стал казаться русским людям каким-то безрадостно-громоздким, необжитым, как бы и нежилым. Приезжим было в нем не по себе, точно въезжая в него они выезжали из России, и сами петербуржцы в нем жили на отлете, на сквозняке, не обрастая густым

и прочным русским бытом, и по-русски говорили как то скучнее и суше, чем в Москве. Своей одеждой, манерами, самым своим лицом петербуржец внушал представление о чем-то чужом, жестком, неуютном. «Наружность у Орлова, — в чеховском «Рассказе неизвестного человека», — была петербургская: узкие плечи, длинная талия, впалые виски, глаза неопределенного цвета и скудная, тускло окрашенная растительность на голове, бороде и усах. Лицо у него было холеное, потертое и неприятное». Через несколько строк мы узнаем, что у Орлова всегда наготове ирония, «точно щит у дикаря». Точно также и Толстой не терпит Каренина прежде всего за петербургские его качества, чиновничью исполнительность, официальную холодность, и за те же черты не любили Петербург провинциалы и москвичи. Пушкинская формула «скука, холод и гранит» приобрела совсем новую безвыходность и бесповоротность. В одном слове это можно выразить, сказав, что Петербург стал чем-то казенным, т. е. перестал быть символом живого государства, и стал символом государства, в которое не верят, которого не любят, с которым не связывают былых надежд. «Казенщина» — какое это русское слово, и какое петербургское понятие! Им окрасился постепенно весь образ «невских берегов», и дело тут не в идеологиях, не в личных вкусах, а в выветривании смысла, в увядании надежд, в ощущении непрочности петербургской России. Всего выразительней раскрывается это у Достоевского, если проследить, как изме-

нялось с годами столь острое чувство Петербурга — вплоть до оценки его внешнего облика, его архитектуры — вместе с ростом тревоги о его судьбе.

В одном из фельетонов «Санкт-Петербургских Ведомостей» за 1847 год, озаглавленных «Петербургская Летопись» и подписанных буквами Ф. Д., встречаются такие строки: «Не помним, когда случилось нам прочитать одну французскую книгу, которая вся состояла из взглядов на современное состояние России. Конечно, уж известно, что такое взгляд иностранцев на современное состояние России; как-то упорно не поддаемся мы до сих пор на обмерку нас европейским аршином. Но несмотря на то, книга пресловутого туриста прочлась всей Европой с жадностью. В ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры; что нет в ней ничего особенно поражающего, *ничего национального*, и что весь город одна смешная карикатура на некоторые европейские столицы; что, наконец, Петербург, хотя бы в одном архитектурном отношении, представляет такую странную смесь, что не перестаешь ахать, да удивляться на каждом шагу. Греческая архитектура, византийская архитектура, архитектура рококо, наша православная архитектура, — всё это, — говорит путешественник, — сбито и скомкано в самом забавном виде, и, в заключение, — ни одного истиннно прекрасного здания».

Эти взгляды французского путешественника, в

котором легко узнать Кюстина, еще за пять лет до статьи Достоевского вполне разделялись Герценом, писавшим: «Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет (...) Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож», и еще: «в нем даже русские церкви приняли что-то католическое». Достоевский, однако, горячо возражает Кюстину. «Петербург — глава и сердце России. Мы начали об архитектуре города. Даже вся эта разнохарактерность её свидетельствует об единстве мысли и единстве движения. Это здание в растреллиевском вкусе напоминает Екатерининский век, это — в греческом и римском стиле, позднейшее время, но всё вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга и целой России. И до сих пор Петербург — в пыли и мусоре; он еще созидается, делается; будущее его еще в идее, и идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет, укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом...»*. Далее Достоевский развивает мысль, что если Москва знаменует собой национальное прошлое России, то Петербург это — её не менее национальное настоящее и будущее. Ударение ставит он на будущем, и в этом, незаметно

---

* См. В. А. Комарович. «Фельетоны сороковых годов». 1930. Там же приводимые далее тексты из черновых записей Достоевского.

для себя, перекликается со своим противником Кюстином, который писал: «В других странах создавали большие города в память великих подвигов прошлого (...) Санкт-Петербург во всем своем великолепии и своей огромности — трофей воздвигнутый русскими во славу будущей их мощи; надежда, которая порождает такие усилия, кажется мне возвышенной». Зато, когда надежда ослабеет, когда померкнет вера в будущее Петербурга, тогда и отношение Достоевского к нему коренным образом изменится.

Через шестнадцать лет, в год тургеневских «Призраков», «Зимние заметки о летних впечатлениях» вновь упоминают о екатерининском, о «растреллиевском» веке: «Одним словом, вся эта заказная и приказанная Европа удивительно как удобно уживалась у нас, тогда, начиная с Петербурга, — самого фантастического города, с самой фантастической историей из всех городов земного шара». Фантастический, это значит «невсамделишный», призрачный, иллюзорный, не оправдавший положительных надежд; и Европа здесь — только заказная, приказанная Европа. Еще десять лет спустя, в «Маленьких картинках», включенных в «Дневник писателя», Достоевский высказывает взгляд на петербургскую архитектуру вполне совпадающий с тем мнением о ней «пресловутого туриста», которое он когда-то так ревностно оспаривал. В архитектурном отношении Петербург ему представляется теперь отражением «всех архитектур

в мире, всех периодов и мод; всё постепенно заимствовано и всё по-своему перековеркано». Ему уже не нравится ни «бесхарактерная архитектура церквей прошлого столетия», ни классицизм Империи, ни византийские стилизации Тона, ни подражания венецианским или римским дворцам Возрождения и барокко. Строителям этих дворцов «слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся (...) порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, всё это почти накануне крымской войны, а потом и освобождения крестьян...»

В черновой записи 1876 года Достоевский возвращается к той же теме: «Говорят, австрийский император похвалил наш город: «Красив, хорошо выстроен». Я этого не понимаю, хотя очень люблю архитектуру. Красивых зданий действительно, довольно, но до того всё это разнохарактерно выстроено, что другого такого города, я думаю, нет на свете. Все типы архитектуры, рядом с полной бесхарактерностью, увидите чуть ли не на каждой улице. Если бы вдруг мы перенеслись на тысячу лет спустя, и Петербург как-нибудь сохранился, как Помпея, то всякий бы спросил: «какой это такой народ жил в этом городе? Какая у него была идея, какой был у него характер»? Всё было, все характеры, и ничего, значит не было...»

Отчасти мысли эти объясняются не только тем, что изменился Достоевский, но и тем, что изменился Петербург. В качестве примера «бесхарактерности» его архитектуры он совершенно справедливо приводит «княжеский дом» на Неве. Дом этот по его словам, претендует подобно своим итальянским образцам на «заявление независимости, силы, твердого убеждения. И вот, ничему этому я не верю, никакой силе, никакому твердому убеждению. Мне даже кажется, что владелец палаццо до сих пор решительно больше любит юрту, палатку, деревянный домишко, который можно сейчас снести, а что палаццо эти только так у нас, для моды...» Далее идут излюбленные мысли тех лет о том, что занесенная в Россию западная цивилизация не может с ней органически срастись, что она приносит с собой формулы, для России не имеющие смысла. Однако изменившееся отношение Достоевского к Петербургу не объясняется полностью ни влиянием славянофильства, ни архитектурным безвременьем, ни какой бы то ни было переменой личных его вкусов. Он Петербурга не разлюбил: об этом свидетельствуют страницы, посвященные ему в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Вечном муже». Город сроднился навсегда с его душой, но видит он его теперь без прикрас, во всей его наготе: «Это самый угрюмый город, какой только может быть на свете» (1873). Тема о призрачности Петербурга, намеченная еще в ранних рассказах, теперь появляется всё чаще, меняет свой первоначальный смысл, приобретает тра-

гическую глубину, становится пророческим видением. Герой и рассказчик «Подростка» говорит: «— Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне? Кто-нибудь вдруг проснется, кому всё это грезится — и всё вдруг исчезнет».

Но отчего же разлетится туман, какой катаклизм уничтожит город? Об этом ничего не сказано в «Подростке», но об этом говорится в одном из черновых набросков 1873 года к «Дневнику писателя»; и Достоевский сам подчеркнул в этой записи слово «переворот» и последние два слова:

«Я часто спрашивал себя: как без *переворота* можно согласиться бросить такие дворцы — кстати, что будет с Петербургом, если бросят? Уцелеют немцы, множество домов без поддержки, без штукатурки, дырья в окнах, а посреди — *памятник Петра*».

III

«Ужо тебе...» Мы узнаем облезлые дома и выбитые стекла поруганной столицы. Можно её отстроить, но воскресить нельзя; столицей ей не быть; век её прошел; петербургский апокалипсис исполнился. Совершилось торжество многоголового, безликого Евгения над Медным Всадником, создателем Петербурга. Смиренный Акакий Акакиевич, восстав из гроба, поснимал шинели со всех «значительных лиц». И не только штукатурка облупилась и дворцы пошли на показ или на слом, но перед лицом истории город и в самом деле «исчез, как дым», и мы все, кому он снился много лет, проснулись.

Теперь, когда глянешь назад, кажется, что в таком конце вообще никто не сомневался, как не сомневаются в смерти, хотя каждый, в миг её прихода, может сказать, что жил и не думал умирать. Этому не противоречит возврат восхищения, гордости Петер-

бургом, начавшийся в девяностых годах и захвативший первые годы революции. Оправдание петербургской красоты, которым обязаны мы живописцам и поэтам, новой жизни — хотя бы только в искусстве — ему не принесло. С оценкой петербургской архитектуры у Кюстина, в «Призраках», в «Дневнике писателя» никто уже теперь не согласится; но если Росси был последним гением европейской архитектуры, то подражание ему так и осталось подражанием. Исправление вкуса — еще не обновление творчества, а любовь к прошедшему не всегда имеет власть над настоящим. Никогда еще так не любили Петербурга, Пушкина, Петра, как в годы, которые мы все помним, но у людей с воображением, у имевших глаза, чтобы видеть, любовь эта была неразрывна с чувством и предчувствием трагедии. Тому свидетельства — «Петербург» Белого, стихи Блока (особенно из цикла «Город»), мучительные строчки Анненского, как бы написанные, для того, чтобы нам их припоминать, когда не спится ночью:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...

и дальше:

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой...

и еще:

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь,
Да сознанье проклятой ошибки.

Как же благоденствовать стране, у которой такая столица? И как столице самой не уйти, не исчезнуть в тумане, когда о ней пишут такие стихи?

Но раньше, чем рассеялся сон и развеялось марево Петербурга, нам дано было увидеть наш город в таком сиянии правды, в таком неподкупном, чистом, горнем свете, каких он еще не знал и знать не мог. Когда всё было решено, всё кончено, всё заколочено и пусто, и бездымными высились вдали тени фабричных труб, — в осень, когда умер Блок, когда прохожий, бредя посредине мостовой, выходил на безбрежную необитаемую площадь и сажени сырых дров закрывали с Невы фасад Дворца, — в те дни Петербург был прекрасен, как никогда, широко раскинутый, царственный, ненужный. Арка Главного Штаба бескорыстно замыкала свой полет, Биржа за рекой стала и вправду храмом, игла крепости светилась в легких

небесах; из времени он вернулся к вечности. Подолгу, подолгу с моста можно было глядеть на линию дворцов, и казалось, что стены их истончаются, светлеют, что проступают сквозь них тощие деревца, чухонские болота, а потом леса, пажити, разливы, степи, вся равнинная русская нескончаемая даль, что вся Россия просвечивает, и уж навсегда теперь, сквозь ставшие прозрачными камни Петербурга.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Писатель, специалист по истории искусства и профессор Богословского института в Париже, Владимир Васильевич Вейдле родился в 1895 году в Петербурге. Он окончил Историко-филологический факультет Петербургского университета. Вскоре после октябрьской революции 1917 года он эмигрировал во Францию и поселился в Париже. Здесь Вейдле стал постоянным сотрудником многих изданий русской эмиграции и, в частности, журнала «Современные записки» и газеты «Последние новости». Его вдумчивые статьи и очерки создали ему прочную репутацию эрудита не только среди русских читателей, но и французских. Книга «Умирание искусства» (она вышла по-французски под заглавием «Les abeilles d'Aristée») свидетельствует о нем, как о значительном философе искусства. Одно из крупнейших французских издательств — La Nouvelle Revue Francaise поручило Вейдле составление и редактирование большой двухтомной книги во Всеобщей истории искусства. Книга Вейдле «La Russie présente

et absente», изданная по-французски и переведенная на английский и испанский языки, заслужила ему Риваръевскую премию.

В 1952 году Издательство имени Чехова выпустило в свет книгу Вейдле «Вечерний день», составленную из «Откликов на западные темы». Красной нитью через всю книгу проходит в ней, как выразился архимандрит Киприан в «Новом журнале» (кн. XXX, 1952 г.) — «общее настроение любви, почитания и верности европейскому прошлому, частью которого когда-то были и мы, русские».

«Задача России» по-русски выходит впервые. Некоторые ее части взяты автором из упомянутой книги «La Russie présente et absente» и из очерков, печатавшихся в «Современных записках» и в журнале «Русские записки» П. Н. Милюкова.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО РЕКОМЕНДУЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ЕЩЕ РЯД ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ

Цена в долл.

М. БОК — Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине, 347 стр. 2.75

Имя Петра Аркадьевича Столыпина связано с эпохой крупных реформ начала нашего века. О Столыпине-человеке до сих пор, однако, написано немного. Поэтому воспоминания дочери Столыпина — ценный вклад в нашу скудную литературу об этом замечательном государственном деятеле. В своей безыскусственно написанной книге она нарисовала образ Столыпина-человека, который был одновременно и образцовым хозяином, и блестящим администратором, и выдающимся политиком.

П. А. БУРЫШКИН — Москва купеческая, 350 стр. 3.00

Воспоминания П. А. Бурышкина — общественного деятеля и одного из представителей московского купечества — освещают ту роль, которую русское и особенно московское купечество сыграло в культурном и экономическом развитии России. Книга написана просто и увлекательно и представляет несомненный интерес для широкого русского читателя

В. ВЕЙДЛЕ — Вечерний день, 219 стр. 2.00

В ряде блестящих очерков автор знакомит читателя с лучшими и самыми интересными страницами из истории европейской архитектуры, искусства, литера-

туры. «Вечерний день» овеян грустью по тому, чему нет возврата; но ни на минуту автор не теряет надежды на то, что «наследники христианской Европы пробьются сквозь ночь к неведомому дню».

Великий Князь ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ — В Мраморном дворце, 412 стр. 3.00

Автор воспоминаний — сын великого князя Константина Константиновича, поэта, известного под псевдонимом «К. Р.». Книга «В Мраморном дворце» посвящена описанию жизни придворных и высших военных кругов в России в конце 19-го и в начале 20-го века. В заключительной части воспоминаний автор рисует жуткую картину расправы большевиков с представителями русской аристократии и императорской семьи, и дает незабываемый портрет Урицкого и окружавших его чекистов.

А. И. ДЕНИКИН — Путь русского офицера, 382 стр. 2.75

В этой книге генерал Деникин рассказывает о годах своей жизни, предшествовавших гражданской войне. Сын крепостного крестьянина, А. И. Деникин, знакомит читателя с той суровой школой жизни, которую ему пришлось пройти: безотрадное детство, школа, военное училище, военная академия, гарнизонная служба, японская война, революция девятьсот пятого года, Первая мировая война. Написанные с той простотой, искренностью и прямотой, которые всегда отличали вождя Белого Движения, эти воспоминания свидетельствуют о большом литературном даровании их автора. «В лице автора удивительным

образом сочетались офицер по призванию, для которого служба претворяется в служение, и тот несомненно незаурядный писатель, который, описывая только то, что хорошо знает, вырастает до размеров крупного авторитета...» (Н. Рыбинский, «Новое Русское Слово», Нью-Йорк).

Н. Н. ЕВРЕИНОВ — История русского театра (с древнейших времен до 1917 г.), 413 стр. 3.00

Эта книга, написанная одним из самых известных знатоков театрального искусства в России, ставит себе в качестве одной из своих основных задач изучение оригинальных форм русского театра. Отдельные главы книги посвящены анализу элементов театральности в церковной жизни Московской Руси, распространению западных влияний в русском театре, зарождению русского национально-бытового театрального искусства, театральной жизни 18-го, 19-го и начала 20-го веков, и той важной роли, которую сыграл Московский Художественный театр в театральном развитии России.

В. П. ЗИЛОТИ — В доме Третьякова, 347 стр. ... 2.75

Мемуары дочери П. Н. Третьякова, создателя знаменитой Третьяковской галереи, переносят читателя в Москву конца прошлого века. На глазах Веры Павловны создавалась и росла Третьяковская галерея. Автор делится своими воспоминаниями о русских художниках — Репине, Васнецове, Сурикове, Перове, писателях — Толстом, Тургеневе, и музыкантах — Чайковском, Скрябине, Рубинштейне, молодом Рахманинове. Книга Зилоти будет интересна

для каждого русского читателя, а для людей любящих Москву — особенно. Предисловие к этим воспоминаниям написано проф. М. М. Карповичем.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ — Петербургские зимы, 241 стр. 2.00

Перед читателем встает во всем своем блеске неповторимый момент в истории «блистательного Санкт-Петербурга», когда, впитав в себя лучшее, что дала культура Запада, русское искусство и литература пережили эпоху изумительного русского «декаданса». «Петербургские зимы» — это живая галерея незабываемых портретов русских поэтов, писателей и художников, создавших самую оригинальную эпоху в истории русской литературы. «Эта книга принадлежит к числу наиболее интересных произведений, написанных за время нашей эмиграции... Это художественные наброски, по манере напоминающие знаменитых рисовальщиков... Герой воспоминаний Георгия Иванова, разумеется, сам город Санкт-Петербург или Питер — этот чародей, создавший всех этих неправдоподобных своих чудаков-обитателей...» («Опыты», Нью-Йорк).

К. КРИПТОН — Осада Ленинграда. Записки очевидца, 251 стр. 2.00

В СССР об осаде Ленинграда имеется целая библиотека воспоминаний, романов, пьес, стихов. Но советские авторы представляют драму Ленинграда в неверном свете. Ценность книги Криптона в том, что ее написал человек, который сам пережил эту осаду, и, вырвавшись из Советского Союза, получил воз-

Цена
в долл.

можность правдиво написать эту, едва ли не самую трагическую главу из истории недавней войны.

В. А. МАКЛАКОВ — Из воспоминаний, 410 стр. . . 3.00

«Громадность происшедших в России перемен превратила «недавнее прошлое» в «историю». Это нам помогает беспристрастнее отнестись к нашим прежним оценкам». Эти слова из предисловия автора определяют основное значение книги. На фоне личных воспоминаний В. А. Маклаков дает оценку исторического пути, пройденного Россией после эпохи Великих Реформ и завершившегося революцией семнадцатого года. Блестящий адвокат и видный общественный деятель В. А. Маклаков был свидетелем, а часто и активным участником событий, описанных им в его воспоминаниях. Большой интерес представляет анализ современного конфликта между демократией и тоталитаризмом.

С. Г. ПУШКАРЕВ — Обзор русской истории
507 стр. 3.00

Автор определяет свою книгу как «обзор политической и социальной истории русского народа». С. Г. Пушкареву удалось в одном томе объединить обширный материал, добытый им в результате долголетней научной работы в качестве ученого историка и преподавателя русской истории.

Россия в XIX веке (1801-1914), 509 стр. 3.00

В своем предисловии автор указывает, что его изложение основано, главным образом, на первоисточниках и дает возможность читателю слышать голос де-

ятелей нашего прошлого не в его передаче, но в собственных их словах. Огромный исторический материал, содержащийся в книге, расположен по четырем отделам: 1) Государственная власть и отношения между властью и обществом; 2) социально-экономические отношения; 3) внешняя политика; 4) духовная культура.

Ю. САЗОНОВА — История древнерусской литературы

Т. I — 411 стр. 3.00
Т. II — 412 стр. 3.00

В предисловии к своей двухтомной «Истории древнерусской литературы» Ю. Сазонова указывает, что ее цель — «показать развитие древнерусской литературы, устной и письменной, от ее истоков, до создания Московского царства». Первый том посвящен анализу устных преданий русской древности и характеристике фольклора. Во втором томе дается разбор литературных памятников, начиная с XIII-го века и кончая эпохой Ивана Грозного. Несмотря на огромное количество и разнообразие анализируемого материала, автору удалось показать черты преемственности, перебрасывающей мост от древней к современной русской литературе, и выделить те ее особенности, которые в известной степени не перестают влиять и на современных писателей.



Цена: 2.25